

ТАЙНЫ

Вып. XVI

М. И. Волобуевский

ВРЕМЯ ПОЛНОТА

ДВА ВОЙНЫ

СЛУГА ИНОСЕРВИСА
ПЕЛЛА



ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах

Михаил Волконский

Две жизни

Роман «Две жизни» вводит читателя в полную тайн и мистики атмосферу двора императрицы Екатерины II.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	0005
ГЛАВА ПЕРВАЯ	0005
ГЛАВА ВТОРАЯ	0044
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	0078
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	0115
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0159
ГЛАВА ПЕРВАЯ	0159
ГЛАВА ВТОРАЯ	0205
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	0248
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ	0291
ГЛАВА ПЯТАЯ	0334
ГЛАВА ШЕСТАЯ	0365
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	0394

Михаил Волконский

Две жизни

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

В середине июня 1789 года, когда императрица Екатерина II вместе со своим двором находилась в Царском Селе в летней резиденции, произошло обстоятельство, не отмеченное в исторических летописях и оставшееся совершенно неизвестным, но тем не менее имевшее некоторое влияние на ход событий последних лет царствования великой императрицы.

Давно уже доказано, что наряду с так называемой официальной историей, несомненно, существует неофициальная, тайная, сплетающаяся из целого ряда интриг и отношений, разгадать и открыть которые представляется возможным лишь спустя многие годы. И сколько раз подобные открытия давали вдруг совершенно неожиданно объяснения явлениям, казавшимся случайными, и соединяли эти казавшиеся случайными явления в после-

довательную и логически развивающуюся цель.

Есть, например, серьезные исторические данные к тому, чтобы считать, что душой переворота 1762 года, возведшего на русский престол принцессу Ангальт-Цербстскую, супругу императора Петра III, Екатерину, был известный граф Сен-Жермен, оставивший на западе Европы по себе память как исключительный человек, владевший тайнами природы и располагавший поразительной, чуть ли не волшебной силой.

Граф Сен-Жермен был в Ангальт-Цербсте другом матери Екатерины и в 1762 году был в России под именем пьемонтца Одара, жившего на маленькой мызе, на месте, где возникло потом Царское Село с его великолепным дворцом и парком. На той мызе, в помещении, занимаемом пьемонтцем Одаром, происходили все совещания съезжавшихся сюда секретно участников переворота 1762 года. Очевидно, граф Сен-Жермен руководил ими, и они знали, кто скрывается под скромным именем пьемонтца.

До нашего времени дошел список всех по-

лучивших награды при восшествии на престол Екатерины II. В нем помечены все, так или иначе способствовавшие этому «действию», как выражались тогда, и один только пьемонтец Одар не упомянут.

Подобный пропуск, разумеется, не может быть случайным, так как Одар являлся слишком деятельным лицом и его слишком хорошо знали все главари заговора. Знала его лично и сама Екатерина.

Сен-Жермен, действовавший под именем Одара, не получил награды за свои труды, потому что был единственным, исключительным человеком, не нуждающимся ни в чем из того, что могла дать даже такая всемогущая государыня, как Екатерина. В самом деле, она могла предоставить ему почести, власть, деньги, и только. Для огромного большинства и почести, и власть, и деньги являлись неудержимым соблазном, но для Сен-Жермена ни то, ни другое, ни третье не представляло цены, потому что он решительно не нуждался ни в том, ни в другом, ни в третьем. Почет у него был в силу его огромных знаний, которые давали ему дружбу коронованных

особ и ставили его выше всех приближенных слуг и подчиненных государей. В то время как придворные искали перед властителем, сами эти властители не прочь были искать расположения такого человека, как граф Сен-Жермен. Власти ему было не дано, потому что он, опять-таки в силу своих знаний, мог владеть волею других людей, то есть обладал такой властью, позавидовать которой мог и король. Наконец, в деньгах он не нуждался, потому что, как говорили, обладал секретом «философского камня», то есть мог превращать, любой металл в золото, а простой уголь — в чистейшей воды бриллиант.

Правда, подлинных доказательств этого его искусства не сохранилось, и сам Сен-Жермен никогда положительно не утверждал, что ему известен «философский камень», творящий такие чудеса. Но вместе с тем он никогда и не отрицал этого, а когда ему предлагали денег — доставал из кармана горсть самоцветных камней и спокойно говорил:

— Согласитесь, что тому, у кого полон карман драгоценностей, деньги не нужны.

И действительно, карманы у него всегда

были полны драгоценностями.

Кроме всего этого граф Сен-Жермен обладал огромною памятью и хранил в ней многие исторические подробности с такою ясностью, как будто сам присутствовал при них. Что же касается будущего, то оно, по-видимому, для него было так же ясно, как прошедшее, и он читал в нем так же свободно, как в любой самой обыкновенной книге.

Таким образом, чем могла наградить и что была в силах дать подобному человеку императрица Екатерина, которой он помог взойти на престол, руководя ее сподвижниками?

А что именно он руководил, то об этом сохранилось, как исторический факт, свидетельство одного из этих сподвижников, графа Алексея Орлова, который, проживая за границей после смерти императрицы Екатерины, в царствование уже Павла Петровича, встретив при одном из маленьких германских дворов графа Сен-Жермена, отнесся к нему чрезвычайно почтительно и в присутствии большого придворного кружка открыто назвал его «отцом переворота 1762 года».

Но кто знал, когда в свое время приезжал в

Россию граф Сен-Жермен, что его приезд будет иметь столь значительные последствия?

Вот точно так же и обстоятельство, случившееся в середине июня 1789 года, прошло совершенно незамеченным, и только посвященные знали, что оно может быть чревато последствиями.

Обстоятельство же это заключалось в том, что в поздний час сумеречно-белой петербургской июньской ночи в Царское Село въехала большая, запряженная четвериком цугом карета, так называемый дормез, с увязанными на ней чемоданами, сундуками и баулами и была остановлена у заставы, где дозор производился особенно строго, потому что двор в это время находился тут, в Царском.

II

В этой карете сидел высокий, худой старик с гладко выбритым, несмотря на сделанное, видимо, далекое путешествие, лицом, в парике и в одежде по старой французской моде и в плоской треугольной шляпе. Цвет его одежды был очень скромный — темно-коричневый, никаких богатых украшений на нем не было

видно и вообще ничего роскошного, бьющего в глаза.

Выскочивший из караульного помещения сержант с фонарем подошел к дверце кареты, и сейчас же к нему протянулись оттуда бумаги, удостоверявшие личность прибывшего. Эти бумаги, очевидно, были в полном порядке, потому что сержант, взглянув на них, сейчас же махнул в сторону спущенного шлагбаума; последний поднялся, и карета двинулась, закачавшись вновь своим тяжелым кузовом.

Сержант вернулся в караульное помещение и отметил в книге, куда заносились фамилии всех пропущенных через заставу: «Доктор Август Герман».

Этот проехавший в огромной карете доктор, судя по ее виду, очевидно, сделал большое путешествие и приехал не иначе как из-за границы. Не говоря уже о самом докторе — несомненно иностранце, — все окружавшее его обличало в полном смысле слова иноземщину.

Однако сидевший в ливрее на козлах кучер правил уверенно и бодро погонял боль-

шим бичом лошадей, видимо отлично зная дорогу.

Надобно сказать, что в то время даже и в больших городах, не исключая Петербурга, не только еще не вывешивалось название улиц, но большинство последних вовсе не имело названий, и дома только на главных артериях строились в ряд; в промежуточных же местностях возводились усадьбы с садами, огородами и службами, и, чтобы отыскать чье-нибудь жилище, человеку, незнакомому в точности с дорогой, приходилось расспрашивать прохожих, заходить в лавочки или стучать в чужие окна. То же самое происходило и в Царском, где тогда был полный хаос в распределении домиков и дач.

Однако карета доктора Германа катилась без остановок, уверенно поворачивая; видимо, кучер ее отлично разбирался в лабиринте замерших в ночной тиши закоулков.

Наконец дормез остановился у низенького домика с мезонином, ничем особенным не отличавшегося от прочих, кроме разве несомненной опрятности содержания, видевшейся во всем. За домиком рисовались темные

деревья большого и густого сада.

По первому взгляду казалось, что и этот домик, как и соседние, спал тихим сном и за его плотно затворенными ставнями царил ничем не возмущаемый покой. Но едва остановилась карета и кучер, по обычаю заграничных почтальонов, протрубил в почтовый рожок, дверь немедленно распахнулась, и двое выбежавших слуг кинулись к карете.

Полоса яркого света упала из двери на крыльцо, домик был освещен внутри. Там, очевидно, ждали приезжего. Он бодро сошел, держась необыкновенно прямо, по откинутой слугами каретной подножке и как свой человек уверенно поднялся по ступеням крыльца. Слуги последовали за ним, дверь захлопнулась, а карета двинулась дальше и исчезла за поворотом.

В прихожей домика висело на вешалке много плащей и на столе лежало много шляп.

— Все уже в сборе? — спросил доктор, кладя и свою шляпу на стол.

Но вместо того, чтобы ответить на его вопрос, слуги загородили ему дорогу и шепотом произнесли:

— Пароль для пропуска?

Доктор улыбнулся и, посмотрев на них, спросил:

— Разве вы не узнали меня?

— Пароль для пропуска! — настойчиво повторил старый слуга.

Доктор, пожав плечами, ответил:

— Ad augusta!note 1

— Per augusta!note 2 — подхватили сейчас же слуги и, расступившись с поклоном, дали дорогу.

Довольно большая комната, в которую вошел доктор Герман из прихожей, была освещена люстрой в семь восковых свечей. Посредине стоял стол, покрытый ярко-красным сукном, и за ним сидело восемь человек, одно девятое место оставалось незанятым.

При появлении доктора все поднялись, и он, сделав общий поклон, вместо приветствия произнес:

— Ad augusta!

— Per augusta! — ответили хором присутствовавшие и по знаку председателя опустились в свои кресла, а вновь прибывший занял оставшееся свободным.

— Вы привезли нам хорошие новости? — обратился председатель к доктору на французском языке.

— Более чем хорошие — отличные! — ответил он.

— Вот как? Чем же вы нас можете порадовать?

— Бастилия пала!

Доктор произнес только эти два слова, но впечатление они произвели очень сильное. Все присутствовавшие приподнялись, переглянулись, и председатель взволнованно повторил:

— Бастилия, королевская тюрьма в Париже, пала. Что же это значит?

III

Бастилия была королевскою тюрьмою в Париже, то есть местом заключения, куда сажали по личным приказам французских королей, по преимуществу так называемых политических преступников.

Власть во Франции была в руках слабовольного, нерешительного короля Людовика XVI, и там работал целый ряд тайных обществ, имевших целью ниспровергнуть эту

власть. Вместе с тайной работой шла и открытая пропаганда, и мало-помалу начиналось то движение, которое разразилось впоследствии в ураган так называемой Великой французской революции. Первым актом этой революции и были взятие Бастилии и освобождение заключенных в ней.

Эта весть, привезенная доктором Германом, была радостно принята ожидавшими его, и, когда на вопрос председателя: «Что же может значить взятие Бастилии?» — доктор подробно объяснил, каких последствий ожидают в Париже от этого «успеха» и на что теперь можно надеяться, со всех сторон слышались выражения шумного одобрения.

— Когда же это произошло? — спросил председатель.

Оказалось, что Бастилия была взята 4 июня, а в середине этого же месяца доктор Герман уже добрался с вестью об этом в Царское Село. Ни официальных сведений, ни частных из Парижа сюда еще не пришло, и его сообщение было первым. Доктор, по-видимому, очень спешил в Россию и не терял в дороге ни минуты времени.

— Нам остается только поблагодарить вас, — сказал ему председатель, — за то, что вы не мешкая приехали к нам и первым привезли важную вестъ. Завтра же мы по этому поводу назначим в Петербурге торжественное заседание нашей логи и отпразднуем взятие Бастилии как международный, общий для нас всех праздник.

— Fiat!note 3 — сказали все присутствовавшие, и председатель три раза стукнул согнутым пальцем о стол.

— Ну, что же у вас, как идут дела? — спросил Герман.

— Все по-прежнему, — ответил председатель, — подвигаемся, но очень мало. Условия, в которых находится Россия, нельзя сравнить с тем, что может произойти во Франции.

— Дмитриев-Мамоновnote 4 все еще в силе?

— Смешно сказать про него, что он «в силе»! — усмехнулся председатель. — Более слабого и бесцветного человека нельзя себе представить.

— Но все-таки при дворе он занимает прежнее место?

— Вот уже три года остается по-прежнему.

— И вы не нашли способа овладеть волею этого человека?

— Можно овладеть волею, когда есть хоть подобие ее. Но у него, безусловно, вместо воли пустое место.

— Тогда надо было давно постараться избавиться от него.

— Так и сделано. Он влюблен в княжну Дарью Федоровну Щербатову.

— Прекрасно.

— В скором времени он сделает ей предложение и огласит свои намерения.

— Значит, дни его при дворе сочтены?

— Полагаем.

— Хорошо. А готов ли у вас ему заместитель?

— Разумеется. Мы уже давно подумали об этом.

— Подходящий человек?

— Старейшие братья долго выбирали и остановились на нем после долгих обсуждений. Он — сын одного из наших братьев, сирота, находится под нашим наблюдением.

— Брат ордена?

— Неофит и будет посвящен в первую степень, как только явится потребность выдвинуть его.

— Но можно ли положиться на него?

— По нынешним временам ни на кого нельзя положиться, но, насколько можно судить, он должен оправдать доверие: он умен, красив собою, силен физически, владеет собою и достаточно самостоятелен.

— Блестящая рекомендация, но с ним, пожалуй, будет трудно, если он попробует выйти из повиновения?

— Что делать? Безвольный и легко подчиняющийся человек, как оказывается, хуже. Вот, например, Дмитриев-Мамонов. Он подчинялся, правда, слишком легко, но зато на него мог иметь влияние всякий, даже посторонний, и результат получился совершенно отрицательный.

— Хорошо. Но у вашего нового кандидата есть по крайней мере какой-нибудь недостаток, пристрастие?

— У него все недостатки, свойственные всем молодым людям: он не прочь покутить, поиграть в карты, бросить Деньги зря. От нас

будет, конечно, зависит развить в нем те или другие склонности.

— Это необходимо. Мы можем управлять человеком лишь тогда, когда владеем ключом его пороков. Он честолюбив?

— Опять-таки как всякий молодой человек его лет, обладающий мечтательным умом.

— Есть у него состояние?

— Никакого. Его отец имел большие поместья, жил очень широко, но разорился и должен был провести последнее время жизни в провинции, в глуши, где был найден нашими братьями и просвещен их светом.

— Он скончался в нищете?

— Нет, у него оставалось еще маленькое поместье, но оно было продано за долги после его смерти.

— Так что его сын вырос в хорошей обстановке?

— О да, и получил привычку к роскоши, к которой имеет врожденный вкус.

— Это очень важно. Как сказало на него в детстве влияние матери?

— Он почти не знал ее. Она умерла, когда ему было пять лет. Он — круглый сирота, да-

же не имеет родственников.

— Что он теперь делает?

— Служит в Конном гвардейском полку, в чине секунд-ротмистра.

— Как его зовут?

— Сергей Александрович Проворов.

— Красивая, звучная фамилия, хорошее имя! У вас составлен его гороскоп?

— О, разумеется!

— Что же ему предвещает будущее?

Председатель развернул лежавший перед ним лист бумаги с начертанным кругом, разделенным на двенадцать частей, в которых были расставлены знаки зодиака и планет, и передал доктору Герману. Тот стал внимательно рассматривать его.

IV

В то самое время как происходило тайное заседание, на котором с такою тщательностью обсуждалась судьба молодого Проворова, сам виновник его, Сергей Александрович Проворов, и не подозревая, что он был причиною столь серьезного собрания почтенных людей, занимающихся его судьбою, лежал на постели и глядел в потолок, закинув руки за

голову.

Было жарко, душно. Погода стояла велико-
лепная, и, несмотря на то что окно было от-
крыто, дышалось тяжело и нельзя было
спать. Белая северная ночь мешала своим све-
том и раздражала мечты, отгоняя сон.

Проворов ворочался с самого вечера, толь-
ко немного задремав с самого начала, а потом
все время ощущая раздражающее состояние
полузабытья, при котором как будто и не чув-
ствуешь себя, но вместе с тем сознаешь все,
что происходит не столько во внешнем мире,
сколько внутри себя, в себе самом.

Он лежал в отдельной офицерской комна-
те помещения, отведенного в нижнем этаже
дворца для офицеров, приехавших на дежур-
ство в Царское Село из Петербурга. Сегодня
Проворов дежурил днем, а завтра у него было
ночное дежурство. И потому он мог теперь
раздеться и лечь в постель.

Но ему не спалось. Всякий раз, как попадал
он в полную пестроты и движения жизнь
большого двора, когда видел вокруг себя важ-
ных лакеев, придворных карлов, арапов, бле-
стящие мундиры, приветливые, вечно улыба-

ющиеся лица и целый цветник дам и девушек, нарядных и прекрасных, он как бы немножко с ума и чувствовал себя в особенно повышенном настроении.

С самого детства, как Проворов помнил себя, его окружали роскошь и довольство, но с годами они как бы таяли, рассеиваясь, словно марево прекрасного и заманчивого видения. Многие из того, что «было» и что окружало его теперь, начинало казаться не существовавшим на самом деле и сливалось с образами воображения, которые, в свою очередь, становились в воспоминаниях действительностью.

Все, что мог для Проворова сделать отец, — это прислать его из провинции в Петербург на службу и поместить, благодаря оставшимся кое-каким связям, в Конный гвардейский полк, а затем высылать небольшие суммы денег, едва-едва хватавшие на самое необходимое. По смерти отца эти присылки, конечно, прекратились, и молодой Проворов продолжал жить с прежнего, так сказать, хотя и небольшого, но все-таки размаха — делал долги, пускал в оборот кое-какие вещи да вы-

игрывал в карты, пока везло.

В Петербурге Проворов окунулся в широкую, веселую жизнь, но она проходила для него в некоторой степени как Для зрителя, а не для участника, и полноправным человеком он не мог участвовать в ней. В то время как большинство его товарищей жило на отдельных собственных квартирах и имело целый штат слуг, он должен был довольствоваться комнатой в казармах и услугами денщика.

Он ездил на балы и на званые вечера, его охотно принимали как офицера гвардейского полка, но он всюду бывал только «гостем» и понимал, что во всей этой спокойной, богатой, уверенной в себе жизни он не более как гость, и только гость.

Когда же ему случалось попадать ко двору, в особенности при поездках на дежурства в Царское или Петергоф, то он чувствовал, что окунается как бы в розовую дымку заветных мечтаний, что все невзгоды и мелочи жизни пропадают, и он становится частицей того святилища счастья, которое льется отсюда по всей стране. И поэтому он всегда во дворце

волновался и не мог спать. А сегодня его еще особенно раздражала и дразнила жаркая, ароматная, душная белая ночь.

Теперь, лежа с закинутыми за голову руками и глядя в низкий с лепным карнизом потолок, он думал:

«Отчего иным людям удастся все в жизни, а другим — ничего? Конечно, есть люди, которые, родившись в простоте, всю жизнь ничего иного не видели и так и пребывают чуть ли не в первобытном состоянии. Но ведь я-то понимаю, что такое жизнь и как надо жить, и вкус у меня, и умение не хуже, чем у многих, которые обладают средствами, дающими возможность проявлять их на деле. Ведь с детства я был приучен ко всему хорошему, и вдруг, на поди, судьба раззадорила аппетит, а ничего не дала... »

И он клял судьбу и считал, что она к нему чрезвычайно несправедлива. С чисто человеческим себялюбием он все сводил к себе, и в его мыслях выходило так, что вся природа как будто только и должна была заниматься им одним.

А разве и в его положении невозможно бы-

ло вдруг невероятное, прямо сумасшедшее счастье?

И Проворов стал мечтать, увлекаясь картинами этого счастья, которые сейчас же стала рисовать ему услужливая фантазия. Он мог очень легко быть избранным, так же вот хоть, как Дмитриев-Мамонов. Что же, в сущности, Дмитриев-Мамонов? Ничего, самый обыкновенный человек, как и сам он, Сергей Проворов. И почему не он на месте Мамонова? Ведь фамилия Проворовых ничуть не хуже Мамоновых, будь они хоть десять раз Дмитриевыми... Да что, наконец? Разве Дмитриев-Мамонов вечен? Мало ли было их и менялось? Салтыков, Орлов, Потемкин... Ведь и сам Потемкин не устоял, хотя и удержался, но это не помешало другим... Римский-Корсаков и еще...

Проворов прищурился, и ему с такою ясностью представилась полная возможность его возвышения, что, казалось, вот придет утро, и все будет именно так, как ему хочется. Он повернулся к окну и увидел, что утро давно уже пришло. Сквозь спущенную на окне занавеску светило яркое солнце, а под приподнятым

ее краем виднелась яркая зелень, тонувшая в золоте лучей, и слышалось несмолкаемое щебетанье птиц.

V

Проворов спустил ноги с постели, нашел ими туфли, накинул на себя голубой шелковый китайский халат, запахнул на груди плетеную оборку распашной рубашки, подошел к окну и отдернул занавеску.

На него пахло свежестью, бодростью и светом раннего летнего северного утра, девственность которого еще не нарушена людскою суетой, говором и прозою. Он вдохнул воздух полною грудью и, сам себе улыбнувшись, круто повернулся и остановился.

Перед ним стоял в дверях высокий, сухой, бритый, в коричневом французского покроя кафтане человек весьма почтенной наружности.

Первое, что пришло в голову Проворову, было, что незнакомец попал к нему ошибкою, зайдя не туда, куда ему было нужно. Но тот сейчас же, как только Проворов обернулся, поднял правую руку и сделал знак, значение которого было известно Сергею Александро-

вичу. Это был знак одной из высших степеней масонской иерархии.

Проворов, как неофит, то есть ожидающий посвящения, должен был ответить тоже условным знаком, состоявшим в том, что ладонь левой руки прикладывалась ко лбу в свидетельство полного повиновения и послушания. Ему было сказано, что где бы и при каких условиях он ни находился, он не должен удивляться появлению брата высшей степени, обнаруживающего себя, и немедленно подчиняться ему беспрекословно. Но он никак не ожидал, что подобная встреча может произойти у него в комнате утром, пока он не успел даже привести себя в порядок.

— Простите, я не одет, — пробормотал Сергей Александрович, ответив условным знаком, и добавил: — Позвольте узнать, с кем я имею честь?

Вошедший улыбнулся одними губами, а его глаза продолжали строго и испытующе смотреть, когда он ответил:

— Да, сейчас видно, что вы — неофит и очень мало знакомы с обычаями братьев вольных каменщиков. Видите ли, раз стар-

ший обнаружил себя знаком, младший, ответив ему тем же, не должен уже расспрашивать, кто он и что он, а просто повиноваться ему. Но вам я, пожалуй, скажу, кто я. Я — тот, который должен посвятить вас в первую степень братства.

Об этом Проворов был тоже предупрежден: брат высшей степени должен был принести ему посвящение совершенно неожиданно, в ту минуту, когда будет найдено, что он, Проворов, достоин этого. Теперь, значит, случилось это, и он, вероятно, был признан достойным.

— Простите, — пробормотал он, — но все это так вдруг... Мне не спалось всю ночь... я невольно любопытствовал, тем более что я не у себя дома, а в дежурном помещении дворца. Здесь иногда бывает строго: меня могут спросить, кто ко мне заходил, и я должен знать, что ответить.

Незнакомец опять улыбнулся.

— Вы правы, хотя я, как видите, имею свободный вход во дворец и, значит, меня здесь достаточно знают. Но хорошо! Если спросят, кто был у вас, ответьте: «Доктор Август Гер-

ман». А теперь сядемте и поговорим. — И он показал Проворову на свободный стул у стола, а сам сел на маленький диванчик, перед которым стоял стол. — Вы говорите, — начал он не торопясь, — что вам не спалось всю ночь, вы мечтали?

— Я не сказал, что я мечтал, — возразил, смущаясь, Проворов.

— А я говорю вам, что вы мечтали. Вы недовольны своей жизнью, вам хотелось бы большего; вы думаете, что способны занять место, предназначенное судьбою своим избранникам... Не так ли? И вы об этом волновались всю ночь, проведя ее без сна, — и доктор остановился, как бы желая посмотреть, какое впечатление произвело на молодого человека столь подробное чтение его мыслей. — Вы видите, — заключил он после некоторого молчания, — что нам, вашим старшим братьям, известно не только все, что вы делаете, но даже то, что составляет ваши сокровенные думы и замыслы.

Сергей Александрович слегка усмехнулся.

— Ну, что касается настоящего случая, то узнать вам, о чем я думаю, не представляет

особенных затруднений. Это сделал бы всякий человек, умеющий рассуждать и делать выводы из соответствующих обстоятельств.

— Что вы хотите сказать этим?

— Что вы видите во мне молодого человека, который не спал ночь, а если не спал ночь, то, значит, думал о чем-нибудь, потому что лежать без сна и ни о чем не думать невозможно. Будь я бледен, худ и измучен, вы могли бы предположить, что я не сплю ночи от несчастной любви, что мне не отвечает взаимностью мой предмет, и я безнадежно вздыхаю и тоскую. Но я, как видите, здоров, румян и крепок, и вовсе не похож на влюбленного. Ясно, что меня занимает что-то совсем другое. Ну, а о том, что именно это «другое», догадаться нетрудно: я молод, мне хочется полной жизни в свое удовольствие, как и всякому, кто молод, и поэтому немудрено, что я мечтаю о том, как было бы хорошо, если бы моя жизнь сложилась так, как мне этого хочется.

— Вы рассуждаете недурно, и главное — совершенно правильно, — заметил доктор. — Это делает вам честь и облегчает мой даль-

нейший разговор с вами. К своему удовольствию, я вижу, что братья вольные каменщики не ошиблись, указывая мне на вас. Вы — именно вполне подходящий для нашего дела человек.

— Для «вашего» дела? — переспросил Проворов. — Могу я узнать, в чем оно заключается?

— Ни в чем особенном... только в том, чтобы пользоваться вовсю всеми теми благами жизни, о которых вы так горячо мечтали в течение сегодняшней бессонной ночи.

— Что ж, на это всякий согласился бы с удовольствием.

— Ну еще бы! Вы знаете из правил и тезисов, открытых уже вам братом, вашим руководителем, что человек сам — кузнец своего собственного счастья.

Доктор замолк и пытливо уставился на Проворова.

VI

По правилам масонов к каждому неопиту приставлялся брат-руководитель, который следил за ним и мало-помалу посвящал его в тайны герметических наук, сообщая ему тезис-

сы, изречения и правила и помогая толковать и понимать их. Был такой руководитель и у Проворова, и последний вспомнил, что тот, между прочим, указывал, как на одно из существенных правил, тезис: «Человек — кузнец своего счастья», то есть тот тезис, который привел сейчас доктор Герман в разговоре с ним.

— Это, конечно, так, — уверенно проговорил Сергей Александрович, — но я понимаю этот тезис так: человек является в том смысле кузнецом своего счастья, что должен заслужить свою жизнь, своими деяниями это счастье, и если заслужит, то есть скует себе счастье, то достигнет его, а нет — тогда сам виноват.

— Что же, это, может быть, правдоподобно, — загадочно произнес доктор Герман.

— Но вот видите ли, — начал Проворов, покачивая головою, — во-первых, мне кажется, что, пока я буду «заслуживать» себе счастье, пройдет столько времени, что и молодость моя — самое лучшее время — минует, и счастье придет, когда им и пользоваться уже не захочется, а во-вторых, почему, в самом деле,

я должен как-то там заслуживать или ковать свое счастье, а другие в то же самое время без всякого со своей стороны труда или забот пользуются всем в свое удовольствие?

— Рассуждение тоже вполне правильное, — одобрил доктор, — и потому-то толкование, которое вы привели и которое я только что назвал «правдоподобным», существует лишь для неопитов и для людей, не умеющих рассуждать и видеть ясно, где их выгода. Но посвященные должны рассуждать иначе.

— Иначе? Да разве может существовать в данном случае еще иное толкование?

— Отчего же нет? На то и существует сила нашего братства вольных каменщиков. В обычном круге все эти собственные заслуги и самосовершенствование составляют необходимую принадлежность так называемой мещанской добродетели или буржуазной морали, вращающейся в отвлеченности, но мы, вольные каменщики, даем нечто всегда определенное нашим братьям, получающим посвящение в степени. Вы желаете счастья, мы вам дадим его, если вы в свою очередь будете исполнять, то, что мы потребуем.

— Позвольте! Какое же счастье вы дадите мне? — задал вопрос Проворов.

— Да то, какое вы себе желаете: богатство, почет, силу, власть.

— Когда?

— Очень скоро... во всяком случае, скорее, чем вы можете думать и желать.

— И что за это я должен делать для вас?

— Только слушаться и исполнять наши приказания.

— Но в чем ручательство, что вы исполните то, что обещаете?

— Да в том, что мы не потребуем от вас ничего до тех пор, пока вы не получите всего, обещанного вам. Сейчас вы бедный секунд-ротмистр, что вы можете дать нам? Подумайте! Но когда вы станете на место, которое предуготовано для вас нами, вы будете сильны, влиятельны, и через вашу силу и влияние мы можем действовать. Вот и все! Будьте послушны, и вы составите себе счастье, сделаетесь кузнецом его для себя, как посвященный. Поняли?

— Но какое же это место?

— Вы, разумеется, слышали, что Дмитри-

ев-Мамонов не сегодня-завтра должен потерять значение.

— Дмитриев-Мамонов? Неужели?

— Он влюбился в княжну Щербатову и сделал ей предложение. Как только это станет известным, он будет немедленно удален, и место его освободится. Хотите занять его?

Проворов откачнулся. Дух занялся у него. Ведь было сказано вслух то, о чем он мечтал всю ночь в недосыгаемых, как казалось на самом деле, грезах.

— Мне занять его место? — протянул он. — Но разве это возможно? Ведь для этого необходим случай, слепой случай, стечение самых разнообразных обстоятельств.

— Что многим непосвященным кажется часто случаем, то на самом деле бывает очень хитрым и точным расчетом и является результатом целого ряда совершенных одно за другим действий.

— И кто же может направить действия для данного случая?

— Братья-каменщики, масоны, если вы захотите вполне подчиниться им.

Проворов задумался, а затем произнес:

— Вы требуете от меня безусловного повиновения?

— Безусловного.

— Но, конечно, в пределах, ограничиваемых вопросами чести и порядочности?

— Без ограничения какими бы то ни было пределами.

— Как? Вы требуете от меня, чтобы я забыл о чести и правде?

— Все это — слова, не имеющие под собой реальной почвы, условности. Кто посмеет напомнить вам обо всем этом, когда вы будете на той высоте, куда не может достигать искусственно нагроможденная людьми пирамидка этой мещанской, как я вам уже сказал, добродетели?

— Но эдак вы, пожалуй, потребуете, чтобы я предал вам родину.

— Чего бы мы ни потребовали, вы должны безусловно исполнять. Вы говорите: «Родина!» Что такое родина, когда мы должны думать не о пользе того или иного народа, а о пользе всего человечества?!

— Но эта польза всего человечества разве не такая же отвлеченность, как и то, что вы

называете мещанской добродетелью?

— О нет, я говорю о реальной, действительной пользе всего человечества.

— Подразумевая под этим именем «всего человечества» братьев-масонов?

— Кого бы ни подразумевал я, это — вопрос второстепенный. Мне нужен от вас решительный ответ на наше предложение. Желаете вы стать на место Мамонова и подчиниться нам, пользуясь всеми благами и прелестями жизни, или нет? Я думаю, что колебаний с вашей стороны быть не может. Выбор слишком ясный...

VII

Проворов молчал, погруженный в глубокую задумчивость, а затем спросил доктора Германа, поднимая голову:

— Скажите, пожалуйста, для кого работают вольные каменщики и кто руководит ими в тех тайниках, откуда получается направление их деятельности?

— Друг мой, такого наивного вопроса я не ожидал от вас! Общество масонов, или вольных каменщиков, есть тайное общество, и в этом его сила и значение; поэтому все, что ка-

сается его действий, его иерархии и внутреннего распорядка, не может быть «девьюльгировано» или разглашено, чтобы стать достоянием толпы. Низшая степень, в которую вы будете посвящены, может знать одного лишь старшего брата, от которого получает распоряжения и наставления, ват и все. Что же касается вопроса, для кого работают вольные каменщики, то это вы знаете и без меня: для света и истины!

Проворов опять покачал головою.

— Все это — не то. «Свет и истина» — понятия неопределенные, отвлеченные, и, чтобы решать вопросы, касающиеся их, не нужно ничего материального. Между тем вы предлагаете мне материальные, то есть вещественные, блага и желаете, чтобы за это я выказал полное повиновение. А между тем то положение, которым вы меня соблазните, даст мне огромную власть. От меня будет зависеть даже, может быть, до некоторой степени судьба России.

— Да, это возможно, если вы выкажете больше воли, чем Дмитриев-Мамонов.

— Да, я выкажу ее, эту силу воли, но ведь

тогда, если я буду беспрекословно подчиняться братству вольных каменщиков, выйдет, что судьбою России будут распоряжаться через меня масоны?

— Не все ли вам равно, если все почести, и все могущество, и все радости власти будут предоставлены вам?

— Нет, не все равно. Это пахнет какою-то нехорошей сделкой. Ведь, попросту говоря, вы хотите, чтобы я стал слепым орудием совершенно неизвестных мне тайников, желающих ни более ни менее как хозяйничать в России! А ведь она для меня является родиной! Почему я знаю, какие цели у этих тайников? Может быть, они враждебны России, и окажется, что, пользуясь всеми вашими вещественными благами, я буду ежеминутно продавать свое отечество. Да никогда этого не будет! Нет, обещайте мне все, что вам угодно, хоть звезды с небес снимайте, я не соглашусь на такие условия.

— Насколько я могу понять, вы отказываетесь от сделанного вам предложения осуществить те мечты, которым вы только что предавались?

— В своих мечтах я никогда не был предателем.

— Зачем опять эти высокопарные выражения? Не в них дело. Вопрос в том, желаете ли вы получить то, о чем вам мечталось, или нет?

— Конечно, желаю, доктор.

— Ну, тогда что ж тут разговаривать? Сделайте над собой маленькое усилие и получайте.

— Но я не желаю, чтобы мне ставили какие-то условия, чтобы меня «покупали», чтобы от меня требовали исполнения тайной чужой воли! На это я никогда не пойду!

— Но ведь даром ничего не дается, ведь если человек сам — кузнец своего счастья, то должен же он хоть что-нибудь делать, чтобы ковать свое счастье.

— Кузнец, да! — горячо воскликнул Проворов. — Но не предатель. Я повторяю это слово, хотя оно вам и не нравится.

Доктор встал и совершенно бесстрастно и спокойно произнес:

— Итак, вы отказываетесь наотрез?

— Безусловно.

— Подумайте, потом может явиться сожаление. Стоит ли ваше настоящее упрямство тех огромных выгод, которых вы хотите лишиться себя?

Проворов тоже встал и решительно ответил:

— Довольно! Я никогда не соглашусь на ваши условия. Его тон доказывал, что он не хочет больше продолжать этот разговор, и он был уверен, что доктору Герману ничего больше не остается, как немедленно уйти. Однако этого не случилось.

— Мне очень приятно, — сказал он, снова опускаясь на диванчик и снова кладя ногу на ногу, — что вы выдержали испытание.

— Какое испытание?

— Не предупреждали ли вас о том, что перед посвящением в степень вы должны будете подвергнуться испытанию?

— Да, помнится, брат-руководитель говорил что-то подобное.

— Несомненно, говорил. И вот прежде вашего посвящения я пришел, чтобы испытать вас. Поздравляю, вы блестяще выдержали ис-кус.

— Да в чем же состоял он?

— Разве вы не понимаете, что те вещи-
ственные блага, которыми я соблазнял вас, и
все мои заманчивые предложения являлись
только средством, чтобы испытать вас? Если
бы вы согласились на мои уговоры, то не бы-
ли бы достойны высокого звания масона.
Только люди, не поддающиеся постороннему
влиянию и обладающие силой воли настоль-
ко, чтобы устоять перед всяким соблазном,
могут быть посвящены в вольные каменщи-
ки. Для вас был применен трудный искус, вы
его выдержали и теперь можете быть приня-
ты в братство и посвящены в первую его сте-
пень. Но, согласись вы только сделаться «пре-
дателем», как вы выразились, никогда бы не
видать вам посвящения. — Доктор встал, на
этот раз, по-видимому, с тем, чтобы уйти, и
проговорил: — А теперь до свидания, брат-ру-
ководитель сообщит вам, когда и где вы буде-
те посвящены.

Вслед за тем он ушел.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

Проворов не торопясь стал одеваться, стараясь привести свои мысли в порядок, обдумать весь свой разговор с доктором Германом и разобраться в впечатлениях.

Общество масонов, в котором он числился неофитом и в первую степень которого он должен был быть теперь посвящен, никогда серьезно не интересовало его, и он относился к нему довольно легкомысленно. Он ни минуты не сомневался в том, что хорошо сделал, не согласившись на заманчивые предложения и честно сказав, что ни за что не станет бессловесным орудием посторонней воли.

Однако брат-руководитель предупреждал его, что послушание, выказанное по отношению к старшим братьям, сурово карается масонами. Теперь возникал вопрос: послушник он, Проворов, этой воли или нет?

Ведь он не согласился на то, что ему предложили. Положим, в конце концов доктор сам же отдал ему должное и сказал, что это было лишь испытание и что он даже вслед-

ствие этого испытания достоин быть посвященным в первую степень. Но что, как это — уловка только, и на самом деле он подвергнется гневу масонов за то, что перечил? Но тогда почему же посвящение в степень? И потом, что такое, в сущности, этот гнев масонов? Что они могут ему сделать?

Ишь ведь чего захотели! Поставят-де тебя ни более ни менее как на место Дмитриева-Мамонова, и делай ты все, что они укажут. Да, может быть, все это — просто враки, и они вовсе не имеют такой силы, чтобы возводить вдруг из ничего на недосыгаемую высоту, туда, где власть, почет и могущество? Для этого нужно иметь сверхъестественное могущество. Но вместе с тем ведь именно масоны старались уверить всех, что они имеют сверхъестественное могущество... А может быть, доктор Герман говорил все это действительно только с тем, чтобы испытать его?

В сети этих противоречий Проворов не мог найти выход, и чем больше он думал, чтобы распутаться, тем труднее было прийти к какому-нибудь определенному выводу.

Он оделся и пошел прогуляться, надеясь,

авось ходьба освежит его, разъяснит мысли. Он долго бродил один бесцельно по парку, и — странное дело! — его вдруг стало неудержимо тянуть в сторону, где находилась так называемая Китайская деревня, то есть ряд построенных в парке домиков в китайском вкусе с причудливыми завитыми крышами, с оградами хитрого узора, с мостиками, охраняемыми фарфоровыми драконами, и с удивительно красивым, как бонбоньерка, изящным Китайским театром.

Эта Китайская деревня летом обыкновенно населялась придворными и являлась в данную минуту таким местом, которое своим многолюдством совершенно не соответствовало настроению Проворова. Ведь он отправился в парк с исключительной целью уйти от общества в дальние, мало посещаемые аллеи, чтобы никто не помешал ему предаться своим мыслям. Несмотря на это, его стало неудержимо тянуть в Китайскую деревню, и, сам не отдавая себе отчета, почему он это делает, он повернул туда и зашагал уверенно, определенно, точно шел к какой-то заранее намеченной цели.

Проворов и прежде бывал в этой Китайской деревне, но лишь мимоходом и решительно никого не знал из живших в составлявшем ее ряде похожих один на другой домиков. Насколько он слышал, здесь помещались важные фрейлины, статс-дамы и несколько высоких чинов двора.

Сергей Александрович миновал мостик с сидящими и держащими фонари изваяниями китайцев и шел по чистенькой, вымощенной улице деревни. Она была совершенно пуста.

Проворов сперва несколько удивился этому, но потом вспомнил, что час утра был еще ранний, в особенности для людей, живших в Китайской деревне. И ему стало ясно, что именно потому ее улица погружена еще в сонную тишину, окна затворены и занавески на них тщательно спущены.

Он, в сущности, недоумевал, зачем он здесь, однако шел по улице.

Вдруг его словно толкнуло что в сердце — вот оно, и он остановился.

Бывают в жизни такие предчувствия, такие совпадения. Сергей Александрович услышал стук распахнувшегося окна, поднял глаза

и остановился. Пред ним в раскрывшемся окне, отдернув кисейную занавеску, стояла молодая девушка, как утро, прекрасная и, как утро, девственная. Она смотрела прямо на него, и не было сомнения, что для него именно распахнула и окно и, очевидно, желала заговорить с ним.

II

Душой, всеми чувствами своими ощущал Проворов, что эта девушка, вдруг появившаяся в распахнувшемся окне домика Китайской деревни, именно для него показалась и что миг этот таков, что он не забудет его никогда. Но в то же время разум говорил ему, что это — сумасшествие, что незнакомая ему девушка, да еще такая, равной по красоте которой он не встречал в своей жизни, не может на самом деле знать заранее о его случайном появлении на улице Китайской деревни и отворить окно для него, чтобы заговорить с ним.

Все это мелькнуло в его сознании быстрее молнии, и он хотел пройти мимо, считая неприличным останавливаться в упор перед открытым окном незнакомого дома. Но де-

вушка, поняв его намерение, кивнула ему головой и сделала призывный жест рукой.

— Вы зовете меня? — спросил он, веря и не веря своим глазам.

— Да, вас, — ответила она. — Вас ведь зовут Сергей Проворов?

Теперь уже не было никаких сомнений, и он кинулся к окну.

— Тише, — остановила его девушка, — не растопчите роз... с ними надо обращаться осторожнее.

Проворов глянул под ноги: у самой стены домика под окном, окаймленные газоном, росли кусты роз, которые он чуть не смял в своем стремлении.

— Простите... я... я ничего не понимаю, — мог только произнести он.

Они были совсем близко друг от друга, их разделяли лишь подоконник низенького домика и кусты роз под ним. Девушка наклонилась к нему еще ниже и быстрым шепотом проговорила:

— Остерегайтесь масонов. Сегодня они употребили свою обычную уловку против вас, пообещав возвести вас в степень за то,

что вы якобы выдержали испытание. На самом деле им таких, как вы, не надобно. Это обещание дано лишь для того, чтобы заставить вас молчать, но, не согласившись на их предложение, вы окончательно погубили себя в их глазах. Остерегайтесь!

Это было все. Не успел ошеломленный Проворов опомниться, как окно перед ним захлопнулось, белая занавеска за ним опустилась, и наступила снова такая тишь, что Сергей Александрович слышал, как билось у него сердце.

Прежде всего ему пришло в голову поскорее отпрыгнуть от окна, чтобы не причинить какой-нибудь неприятности той, которая с явным самопожертвованием предупредила его и, вероятно, сделала это не без риска, потому что могла навлечь на себя со стороны масонов месть за разоблачение их тайн и уловок. Конечно, необходимо было удалиться как можно скорее. И, поддавшись этому первому чувству не самосохранения, а охранения этой девушки, за которую он уже готов был отдать свою жизнь, Проворов кинулся прочь и вскоре очутился на конце деревни, где ее улица

переходила в аллею парка с перекинутым над нею высоким китайским мостиком с беседкой.

Молодой человек ничего не мог сообразить и понять. Как все это случилось? Почему?

Девушка была так прелестна, что если бы Проворов встречал ее хоть где-нибудь прежде, он не мог бы забыть ее, но он ее не знал — значит, он видел ее в первый раз.

Иначе быть не могло. Встреть он ее раньше — он помнил бы ее, как вот теперь не забудет всю жизнь. Но если они до сего дня никогда не встречались, то каким образом могла она узнать его? А что она узнала его, доказано тем, что она назвала его по имени и фамилии.

«Она ведь так и назвала: „Сергей Проворов“, — повторял он, жмурясь и испытывая при этом неизъяснимое блаженство.

И каждый раз, как он закрывал глаза, перед ним во всех подробностях вставал образ молодой девушки в заколотой на плечах кружевной косынке и с голубой лентой, венком охватывавшей ее белокурые, припудренные

и оттого казавшиеся пепельными волосы.

Ни о масонах, ни о том, какое отношение имела к ним эта девушка, и почему столь чудодейственно была осведомлена о его разговоре с доктором Германом (только что происходившем утром), и в силу каких причин сделала свое предостережение, рискуя быть открытой, Проворов не думал, умышленно отстраняя эти мысли, чтобы не отогнать ими того внутреннего восторженного созерцания прелести милого образа, который он нес в себе.

Молодой человек шел по аллее и радостно улыбался, и лицо его было таково, что встретивший его тут товарищ по полку ротмистр Чигиринский остановил его и спросил:

— Что с тобой? Чему ты так радуешься?

Проворов остановился и, широко раскрыв глаза, уставился на товарища, словно тот разбудил его и вернул от сна к действительности. Наконец он произнес:

— Ах, это ты!.. Что ты говоришь?

— Я говорю, чего ты так радуешься? Вид у тебя такой, словно ты только что получил двойное жалованье!

— Какое там жалованье. Со мной, брат, такое случилось... Да нет, после расскажу... отстань пока! — И, махнув рукою, Проворов стремглав помчался назад к Китайской деревне.

Чигиринский посмотрел ему вслед, покачал головою, понял, что тут дело идет по «влюбленной части», как он это называл, и, чтобы не показаться нескромным, повернул в другую сторону.

Между тем Проворов потому так вдруг кинулся назад к Китайской деревне, что встреча с товарищем и вопрос последнего вернули его к действительности и заставили упасть с седьмого неба на землю. Услышав человеческий голос, он сообразил, что никто ведь не может помешать ему сейчас же узнать, кто эта девушка; ведь стоит подойти к домику, в окне которого он видел ее, и спросить кого-нибудь из тамошних, и ему станет известна ее фамилия и кто она. И он побежал назад, уверенный, что это очень легко и просто.

Но когда он снова очутился на улице деревни, оказалось, что разобраться здесь очень трудно: все домики, стоявшие в два ряда по

сторонам дороги или улицы, были одинаковы, похожи друг на друга, выкрашены все белой краской и имели пестрые крыши. И все эти крыши были загнуты одинаково причудливо, и под всеми окошками росли кусты роз. Наконец даже, во всех домах и на окнах висели внутри такие же белые кисейные занавески, как и в окне, раскрывшемся ему навстречу.

Сергей Александрович стал медленно переходить от одного дома к другому, но напрасно старался он взглядеться и припомнить — ему не приходило на память ни одной такой подробности, которая дала бы возможность с уверенностью сказать, что вот этот дом — именно тот, который он искал.

Он помнил лишь, что этот домик был по середине деревни и с правой стороны.

Долго ходил взад и вперед Проворов, и наконец ему показалось, что он нашел то, что искал, — он стоял перед домом, в окне которого видел «ее». Старый садовник, склонившись, сбирал сухие листья у росших под его окном роз.

— Скажите, пожалуйста, кто живет в этом

доме? — спросил его Сергей Александрович.

Садовник обернулся, пристально посмотрел на молодого человека и в свою очередь спросил:

— А вам на что?

— Мне нужно... Впрочем, если это — секрет, я не настаиваю.

Садовник, пристальнее прежнего посмотрев на него, проговорил:

— Нет, это — не секрет. Здесь живет фрейлина императрицы Малоземова.

Этот садовник был одет в немецкое платье, его бритое лицо, седые длинные волосы и соломенная шляпа обличали в нем иностранца; но, очевидно, он давно жил в России, потому что по-русски он выговаривал очень чисто и определенно.

В дальнейшие расспросы Проворов побоялся пускаться, тем более что главное, что ему было нужно, он знал.

«Малоземова, фрейлина Малоземова! — повторял он без конца. — Какая звучная, красивая фамилия».

III

Ротмистр Конного полка Чигиринский

был известен всему Петербургу под именем просто Ваньки, как его по-приятельски звали все, потому что он со всеми был приятелем. Известен же он был главным образом своими кутежами и скандалами; они были грандиозны и исключительны, но сходили ему с рук, так как он умел обставлять свои выходки настолько остроумно, что, собственно, к нему нельзя было придраться.

Последний раз, например, он замариновал генерала.

Чигиринский кутил с товарищами в загородном трактире, «Красном кабачке», где пили тогда шампанское ящиками. Вдруг к ним пристал какой-то, по-видимому приехавший из провинции, чтобы повеселиться в Петербурге, генерал, бывший до некоторой степени навеселе. Он стал читать молодым людям наизусть о том, что вино, мол, есть враг и приносит вред, и пить его не следует.

Чигиринский встал с бокалом в руках и произнес ответную речь, в ней он заявил, что он и его товарищи настолько тронуты словами его превосходительства, что решили бросить кутежи и в ознаменование этого реше-

ния покорнейше просят его, генерала, разделить с ними их «последний стакан вина».

Генерал снисходительно принял предложение, и они напоили его до того, что раздели донага, уложили на бильярд, полили прованским маслом, посыпали зеленым луком и уехали. Когда генерал утром проснулся в замаринованном виде на бильярде, ему представили счет за выпитое шампанское и за испорченное бильярдное сукно.

Чигиринский был старшим товарищем Проворова и принадлежал к «старожилам», существующим во всех полках; они дослуживаются обыкновенно до чина ротмистра или майора и затем так и остаются до самой своей смерти, упорно отказываясь от дальнейших повышений и назначений, потому что с последними повышениями и назначениями обыкновенно связаны хлопоты и ответственность, которых нет в так называемых «чинах душевного спокойствия» — майора и ротмистра.

Вечный ротмистр Ванька Чигиринский был доволен своею судьбою, чином и самим собою и, казалось, ничего большего не хотел

в мире. Для молодых офицеров, каким был Проворов, он являлся в полку оракулом, а для старших — уважаемым старожилом полка, знавшим все традиции его и хранившим в своей памяти все полковые анекдоты и истории, большинства которых он сам был участником.

Сказать по правде, Чигиринский отлично умел себя держать со всеми, обладая редким врожденным тактом, благодаря которому владел сноровкой не докучать никому, и все его любили. Вследствие этого такта именно он и оставил в покое Проворова, встретив его в аллее у Китайской деревни и сразу заметив, что молодой человек находится не в себе. Он отлично знал, что Проворов к нему же придет, когда захочет, с изливаниями своих чувств.

Так оно и случилось. Вернувшись с прогулки, Сергей Александрович направился в комнату Чигиринского и застал его лежащим с высоко задранными на спинку дивана ногами и с трубкою в зубах.

— Ты знаешь, Чигиринский, со мною случилось нечто совершенно необыкновен-

ное! — обратился Проворов к товарищу.

— Знаю! — процедил тот сквозь зубы, не выпуская из них трубки.

— Как? Ты знаешь, что произошло со мною?

— Нет, что именно произошло, я не знаю, но уже при сегодняшней утренней встрече с тобой увидел, что с тобою что-то произошло... Дело обыкновенное!

— Да нет же, совсем необыкновенное!

— Ну вот еще! Это тебе только так кажется, и все в твоём чине непременно испытывают то же самое. Пари держу, что ты влюбился и потому счастлив.

— Почему ты это знаешь?

— Потому что вид у тебя глупый, как у всех влюбленных.

Проворов посмотрел на товарища. Все слова, которые тот произносил: «влюблен» и прочее, были пустыми и ничего не выражающими в сравнении с тем, что он чувствовал, и он считал за лучшее замолчать и ничего не рассказывать. И, помолчав, он спросил только:

— Скажи, пожалуйста, могу я сегодня отказаться от караула? Видишь ли, мне всю ночь

не спалось, и сейчас я в таком настроении, что не могу отоспаться и, боюсь, ночью не выдержу. Может быть, кто-нибудь заменит меня сегодня, а другой раз я за того отдежурю.

— Валяй! Кого-нибудь найдем за тебя.

— Вот и отлично! — Проворов помолчал и потом вдруг спросил: — Скажи, пожалуйста, ты не знаешь фрейлины Малоземовой?

— А-а, ее зовут Малоземовой?

— Кого «ее»?

— А вот ту, про которую ты спрашиваешь.

— Послушай, ты не имеешь права относиться так к...

— Постой! Не кипятись! Ты меня спрашиваешь, знаю ли я фрейлину, которую зовут Малоземовой. Я у тебя и переспросил это. Что ж ты сердишься?

— Да я не сержусь... но только... если бы ты знал... Впрочем, тебе не понять... ты сам никогда не испытал этого. Ты мне только скажи, знаешь ли фрейлину Малоземову или нет?

— По всей вероятности, знаю, потому что меня представляли, кажется, всем фрейлинам, но которая из них Малоземова, право, не помню.

— Как же ты не помнишь?

— Что ж, брат, делать? Не вели казнить — не помню.

— Ну а скажи, пожалуйста, где можно бы было встретить ее?

— Фрейлину-то! Да на любом балу. Вот теперь по случаю приезда светлейшего, вероятно, начнутся балы, маскарады и всякие празднества.

— Мы поедем с тобой?

— Отчего же не поехать? Поедем.

— Ну и отлично! А теперь я пойду к себе. Так насчет дежурства ты устроишь?

— Устрою.

Проворов был уже за дверью.

IV

Когда двор переезжал на лето в Царское Село, гвардейские офицеры, являвшиеся туда для дежурства, приезжали из Петербурга определенным от полка нарядом, то есть группю в несколько человек, останавливались в нижнем помещении Большого дворца и, ежедневно сменяясь, в определенное время ходили по очереди в караулы; затем на их место прибывал другой наряд от другого полка,

и отбившие свою очередь могли вернуться в Петербург. Возвращались солдаты походом, то есть верхом на лошадях строевой колонной, а офицеры — в собственных экипажах, так как у огромного числа гвардейских офицеров были собственные щегольские запряжки четверкой и даже шестеркой, цугом, кареты и коляски.

Проворов был из тех немногих, у кого не было ни того, ни другого, и ему приходилось пользоваться экипажем одного из товарищей, обыкновенно Ваньки Чигиринского. И теперь из Царского они ехали в Петербург в огромной, мягко качавшейся на рессорах карете и мирно беседовали. Сергей Александрович заговорил об интересовавшем его вопросе о масонах, о которых он до сих пор много слышал и кое-что знал в качестве неопита и с которыми ему пришлось столкнуться теперь непосредственно.

— Скажи, пожалуйста, — спросил он Чигиринского, — ты знаком с масонами, имеешь представление о них?

— Имею, — ответил Чигиринский, по своей привычке не выпуская из зубов короткой

раскуренной голландской трубки.

— И что же ты о них думаешь?

— Да ничего особенного! По-моему, это — детская забава.

— Детская? Почему же детская?

— А вот помнишь, как бывало в детстве? Заберемся мы, ребята, со сверстниками куда-нибудь в сумерки в укромное место и начнем рассказывать страшные истории эдак полупшепотом; и станет и очень проникновенно, и жутко, и страшно, и ужасно приятно. И до того дорассказываемся, что замолчим и двинуться боимся.

— Да, я это помню. Мы, бывало, забирались в коридоре за шкафом на огромный сундук.

— Ну вот и масоны так.

— Тоже на сундук забираются?

— В переносном, конечно, смысле. Тоже главное у них — таинственность; в ней вся штука: будто что-то делают, ищут философский камень, строят храм Соломона, а на самом деле только и всего, что им под этим предлогом можно собираться в тайнике где-нибудь и сидеть и ощущать жуткость таинственности, как в детстве после страшных

рассказов и сказок в сумерках.

— Но ведь у них обряды особые, заседания.

— Пустяки все! Все сводится к тому только, что я говорю.

— Ну а философский камень, а это мистическое строение Соломонова храма?

— Да к чему это нам, православным, заботиться о восстановлении и постройке Соломонова храма, когда у нас, слава Богу, возводятся христианские храмы открыто и всенародно?

— Но ведь Соломонов храм это — совсем другое.

— Вот потому-то я и говорю, что едва ли он нужен, если он, как ты говоришь, — «совсем другое», чем православный храм.

— Нет, я в том смысле, что масонский Соломонов храм — это отвлеченная философия, а не здание из дерева и камней.

— Батюшка мой, христианская религия, то есть наше православие, — такая философия, что никакой другой человеку и не нужно. В христианстве все есть, и все отвлеченное истолковано так, как нигде.

— Так ты думаешь, что нам, христианам,

нечего заботиться о храме Соломоновом, когда у нас есть христианская церковь?

— Думаю и уверен в этом.

— Но ведь масоны не против христианства.

— Если они не против христианства, так почему же они не стараются держаться его исключительно, а выдумывают еще свое что-то особенное? И зачем делать какую-то таинственную, подпольную, секретную «работу», когда можно быть православным христианином совершенно открыто? Если масонство творит добро, то зачем все эти тайны, клятвы и все прочее? Хорошее и честное дело не нуждается ни в каких тайнах, его можно делать открыто, без всяких ночных заседаний с гробами, скелетами и стенами, завешенными черным сукном.

— Ты говоришь — гробами? Настоящими?

— Ну да! Вот такими, в каких мертвецов хоронят.

— Это интересно.

— Для ребят, которые хотят страхов и страшных историй, пожалуй, интересно, а по моему, просто смешно, глупо и даже скучно.

— А сам ты видел что-нибудь из этого или только знаешь понаслышке?

— Нет, я и сам видел. Ведь меня посвящали.

V

Карета продолжала катиться по мягкой, отлично укатанной и содержимой для проездов государыни дороге. Проворов быстро обернулся к Чигиринскому, спокойно тянувшему трубочку, и воскликнул:

— Как! Тебя посвящали в масонство?

Представление, которое он до сих пор имел о приятеле как о человеке беззаботно-легкомысленном, кутиле, вовсе не соответствовало тому, что он узнавал теперь о нем из разговора. Оказывалось, что Чигиринский не только обладал почти доходившей до гениальности способностью придумывать и устраивать во время кутежей умопомрачительные дебоши; у него был вполне ясный и рассудительный ум, «проникавший в глубокие области даже отвлеченности».

— Ну, что ж такое? — ответил Чигиринский. — И меня посвящали в масонство.

— Как же это случилось?

— Да очень просто. Меня стал обхаживать один из них — как это у них называется? — брат-руководитель, что ли, и стал поучать, что, мол, кто вступит в братство вольных каменщиков, тот обрящет на земле царствие небесное и все будет знать.

— И ты согласился?

— Я говорю, что из-за этого любопытства, насколько известно, Ева с Адамом погибли и что, значит, масоны разводят первородный грех по земле.

— А он что на это?

— Боже мой, как взвился! Стал и так, и эдак доказывать! А мне, в сущности, все равно; я больше спорю, чтобы раздражить этого брата-руководителя.

— А он?

— А он изводится. Кончилось тем, что мне надоело разговаривать, и я замолчал. А он вообразил, что, значит, убедил меня, и стал еще упорнее предлагать мне посвящение.

— Ты согласился?

— Я согласился, но главным образом для того, чтобы посмотреть, что это у них за церемония. Ну вот, привели меня в обтянутую

черным сукном комнату; семь свечей горят, на столе книга лежит, а по сукну серебряной канителью мертвые головы вышиты и скелеты.

— Страшно?

— Почему же страшно? Ведь это — такая же вышивка, как бабы красных петухов на полотенцах вышивают. У каждого своя мода: у масонов — мертвые головы, а у баб — красные петухи. Никакой разницы нет и ничего, разумеется, страшного. Огляделся я! Мне сказали, что здесь я должен сосредоточиться и остаться один. Я говорю себе: «Наплевать, где наша не пропадала», — вынул трубку, кисет, набил табак, высек искру, закурил. Выскочил тут на меня масон, вероятно, высочайшей степени, почтенный, сенатор один, да как всплеснет руками. «Ты, — говорит, — что тут делаешь?» — «Я, — говорю, — сосредоточиваюсь». — «Как же ты табачище палишь? Тут мистическими благовониями накурено, а ты табачный дым пускаешь. Неужели вся эта обстановка не приводит тебя в трепет?»

«Нет, — говорю, — не приводит». — «Ну, все равно, — говорит, — брось трубку и при-

выкни к лишениям». Трубку он у меня отнял, и мне это сильно не понравилось. Посидел я так один в суконной комнате, и скучно мне стало.

— Что ж ты делал?

— Да ничего не делал. Вошли наконец братья-каменщики. Курьез! Маскарад маскарадом — разодетые! Завязали мне глаза — из платка повязку сделали — и повели. Только, видишь ли, сукно-то, которое у них на стены было повешено, вероятно, у них от моли в табачке лежало — стало у меня в носу щекотать. Я и чихнул. Слышу, и еще кто-то чихает, потом еще. Тут я нарочно еще «аппчих»... Вышло весело.

— Воображаю!

— Торжественности никакой, да и таинственности мало.

— Ну еще бы! А тебя все ведут?

— А меня все ведут с завязанными глазами и ноги велют раскорячивать, потому что то правой я в какой-то квадрат должен вступить, то левой — в треугольник.

— Хороша у тебя, должно быть, фигура была в это время!

— Я и сам то же подумал, и стало мне так смешно и весело, что я уже не мог удержаться, взял да и отставил вдруг быстро правую ногу в сторону. На нее сейчас же и наткнулся ведший меня с правого бока — да как грохнется! Я сделал вид, что страшно испугался, дернулся и приподнял повязку. Смотрю, а это я самому масону высочайшей степени, почтеннейшему сенатору, подножку закатил, и он растянулся на полу: парик у него свалился, голова плешивая... Так ничего из моего посвящения и не вышло.

— Ну и что же с тобою за это сделали?

— Да что же и кто может со "мною что-нибудь сделать?

— Да ведь, говорят, масоны очень сильны; с ними нельзя ссориться, они отмстят.

— А чем они могут мне отомстить?

— Мало ли чем! Ты, значит, их не боишься?

— Вот вздор! Да что они могут мне сделать? Ничего у меня нет такого, что они могут отнять, и ничем они не владеют таким, что могли бы дать и что могло бы сделать счастливее, чем я есть...

— Значит, ты счастлив вполне?

— Я этого не сказал. Я только говорю, что масоны не могут дать мне ничего, что осчастливило бы меня.

— Они, говорят, властны дать ордена, чины, богатство.

— И прочую всякую чепуху, — подхватил Чигиринский. — Ну, мне этого ничего не нужно. Я вполне доволен тем, что у меня есть, и большего не желаю. Знаешь что, Сережка, поедем сейчас в «Желтенький»?

«Желтеньким» назывался тогда один из наиболее посещаемых загородных трактиров.

— А что ж, в самом деле, едем, — махнул рукою Проворов, — закатимся...

Они уже подъезжали к Петербургу. Чигиринский высунулся в окно кареты и крикнул кучеру:

— Пошел в «Желтенький»!

VI

На другой день с самого раннего утра, не выспавшись после сильного кутежа в «Желтеньком», Проворов стоял на полковом плацу и наблюдал за обучением солдат верховой езде. Это было скучно, а главное — утомитель-

но. Приходилось ходить вместе с берейтором и вахмистром в центре круга, по которому тряслись солдаты на лошадях, и делать им замечания, как держать каблук, повод, руки.

Обучение солдат являлось самым неприятным из всей службы, и офицеры терпеть не могли этого занятия. Каждый из них старался отделаться, и заставить их являться на езд было очень трудно. Большею частью приходилось отдуваться тем, кто, подобно Проворову, жил в казармах и был, так сказать, под рукой. В полку происходили вечные истории по поводу того, что жившие на городских квартирах офицеры не являлись, и их товарищам волею-неволею приходилось заменять их, потому что полковой командир непременно требовал, чтобы солдатская езда происходила в присутствии офицеров.

Сергей Александрович, злой и раздражительный, кружился по плацу, когда приехал Чигиринский, знавший, что, вероятно, опять нет никого на солдатской езде. Несмотря на то что он вместе с Проворовым прокутил всю ночь в «Желтеньком», он был свеж и бодр, так как в этом отношении у него были удивитель-

тельные выносливость и выдержка.

— А ты уже здесь! — удивился он, увидев Проворова.

— Да ведь надо же! — отозвался тот. — Из этих дармоедов опять никого нет. Сегодня очередь Платошки Зубова, и мне уже в шестой раз приходится выходить за него на плац. Ну уж я его серьезно допеку!

Чигиринский покачал головою и протяжно свистнул.

— Ну, брат, теперь Платошки Зубова и не достанешь!.. Он стал уже Платоном Александровичем.

— Кем бы он ни стал, все равно заставлять товарищей бегать по плацу вместо себя — свинство!

— Да ты пойми, что я говорю: Платона Зубова нет в Петербурге. Он, брат, в Царском Селе.

Чигиринский произнес это с таким ударением, что Проворов воскликнул, разведя руками:

— Да не может быть!

— Вот те и «не может быть»!

— Да как же это случилось?

— Очень просто. Он пошел в последнее дежурство нашего полка в Царском во дворец, и тут все решилось.

— Говорили, что участь Дмитриева-Мамонова была уже бесповоротна.

— И на его место попал Платон Зубов.

— Платон Зубов! — повторил Проворов. — Кто бы это мог подумать? Такой тихоня!

Действительно, Платон Зубов, такой же секунд-ротмистр, как и Проворов, отличался в полку чрезвычайно скромным поведением. Плохой служака, неважный ездок — щупленький и нежный, он держался более или менее в стороне от шумной жизни офицерства и проводил время главным образом за чтением сентиментальных книг и в особенности за игрою на клавесинах. Кажется, у него даже были очень порядочные способности к музыке. Но кроме этой склонности к тишине и музыке, за ним никаких достоинств не значилось. И вдруг он, эта ничтожность, попал в любимцы, занял место всесильного когда-то Орлова и даже самого великолепного князя Тавриды, светлейшего Потемкина! Уж и Дмитриев-Мамонов был нерешителен, а

этот совсем казался никудышником.

— Да, уж что кому слепая фортуна предназначит! — проговорил Чигиринский. — Недаром ее рисуют с повязкой на глазах.

— Постой! — остановил его Проворов. — Ты говоришь, что он нес последнее дежурство нашего полка в Царском?

— Да.

— Значит, то самое дежурство, от которого я отказался?

— Да ведь в самом деле, ты ведь отказался, и пошел Зубов вместо тебя... Вот не знал ты... может, счастье предназначено было тебе.

— А разве ты думаешь, это было бы для меня счастьем?

— А ты этого не находишь?

— Видишь ли, теперь я могу сказать тебе: мне предлагали это счастье.

— Кто предлагал?

— Масоны.

— Что-о?

— Масоны следили за мной, потому что мой отец, как оказалось, был тоже масоном, и они мне покровительствовали.

— А потом?

— А потом ко мне явился некто и предложил мне стать на то место, куда попал теперь Зубов.

— И ты отказался?

— Видишь ли, они от меня требовали в случае успеха полного подчинения их воле, то есть чтобы я беспрекословно исполнял все то, что они захотят. Я понял, что это равносильно предательству, и отказался.

— И у тебя хватило духу?

— Да разве можно было поступить иначе?

— Да, брат, это верно — иначе нельзя было поступить... порядочному человеку. И ты — молодец, молодец! — воскликнул Чигиринский, как бы любуясь своим приятелем. — Вот тебе моя рука, что ты — молодец! — И он крепко пожал Сергею Александровичу руку. — Хоть ты и от многого отказался, — добавил он затем задумчиво, — но судьба вознаграждает тебя; ведь честные люди всегда в конце концов выигрывают и бывают счастливы уже потому, что на их совести нет никаких угрызений. Будущее вознаграждает тебя.

— Может быть, я уже вознагражден в настоящем, — прошептал Проворов, отворачи-

ваясь и краснея. — Ведь сейчас же после того, как я отказался от предложения масонов, я встретил, или, вернее, увидел, девушку.

— Ну, это, брат, — Месопотамия, амурная дребедень.

— Нет, Чигиринский, это — не дребедень, это, знаешь... это... что-то... невыразимое!

— Ну и не выражай, если «невыразимое»! Я с тобой о деле говорю.

Чигиринский никогда не придавал серьезного значения «амурной дребедени» и, как только речь с ним заходила о сердечных излияниях, начинал произносить вовсе неподходящие к случаю слова вроде «Месопотамия», «Кунигунда», «Агамемнон».

— Я с тобой дело говорю, — повторил он, — тут выходит занятное сопоставление. Ведь если тебе масоны предлагали свое содействие, то, может быть, и Зубов попал не без их участия, в таком случае они через него могут получить власть и значение.

— Ну, этого я не знаю.

— Это очень серьезно, и это надо выяснить! — озабоченно произнес Чигиринский.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Через две недели Платон Александрович Зубов из секунд-ротмистров был произведен в полковники и флигель-адъютанты.

Придворная жизнь оживилась, государыня повеселела, и снова начались празднества и балы, тем более что дела наши на юге России, где мы воевали тогда с Турцией, шли очень хорошо, и из армии курьеры то и дело привозили известия о победах.

В царскосельском парке, на большом пруду, был назначен большой бал на расположенном посредине его острове.

Танцевальный павильон на этом острове был красиво освещен разноцветными стеклянными шарами и уставлен тропическими растениями, среди которых горело множество тоже разноцветных лампионов. По пруду плавали лодки, увешанные фонариками, очертания берега обрисовывались тоже линиями лампионов. Вся эта масса огней отражалась в воде и создавала среди темной июльской ночи в роскошном парке поистине

волшебное зрелище.

Гремела музыка. На острове, в танцевальном павильоне, играли попеременно один после другого три оркестра; кроме того, по пруду среди освещенных фонариками лодок с гостями ездил на большой барже хор рожечников, а по берегу в разных местах пели песенники гвардейских полков. На остров переправлялись на лодках и на бегавшем по канату ручном пароме.

Проворов явился на бал с единственной и главной целью быть представленным официально фрейлине Малоземовой. Как только он с Чигиринским вступил в разодетую толпу, заполнявшую все лужайки и дорожки у пруда, он стал приставать к приятелю, чтобы тот отвел его и представил фрейлине Малоземовой, а сам весь превратился в зрение, ища по сторонам ту, видеть которую снова было целью его жизни.

— Да, право, я ее и не помню как следует, — отговаривался Чигиринский, — нельзя же помнить всех фрейлин... Постой, вот в толпе вертится камер-юнкер Тротото; он, наверно, знает твою Малоземову. Ты знаком с ним?

— Ну еще бы! — воскликнул Проворов и кинулся, куда показывал Чигиринский.

Камер-юнкер Артур Тротото был известен всему Петербургу как один из щеголей, одетых всегда по последней моде и вообще посвященных во все тайны светской столичной жизни. Это был один из так называемых модников — «петиметров», худенький, тощий, вертлявый, юркий и до приторности любезный.

— Артур Эсперович, Артур Эсперович, — окликнул его Проворов, — на одну минуту!

— Ах, моя радость, мой милейший, — откликнулся тот, — как я счастлив встретиться с вами! Здравствуйте! Я прямо-таки благословляю судьбу, столкнувшую нас. Чем могу быть полезен?

— Вы знакомы с фрейлиной Малоземовой?

Тротото от радости стал даже подпрыгивать, как чижик перед кормом.

— Ну еще бы! Конечно, я знаком с фрейлиной Малоземовой.

— Представьте меня ей, пожалуйста.

— О, с большим удовольствием, с большим удовольствием! Она будет в восторге, она

страшно будет рада. Пойдемте!

— Куда же надо идти?

— Конечно, на остров, в танцевальный павильон: очевидно, все фрейлины там. Конечно, если бы вы просили меня представить вас одной из этих прелестнейших дам нашей столицы, было бы труднее отыскать их в такой толпе, но фрейлина Малоземова, наверное, в танцевальном павильоне, на острове.

И, говоря все время без умолку, Тротото тащил Сергея Александровича с таким видом, точно не он Проворову делает услугу, а тот ему самому делает услугу. Они пробрались к парому и в одну минуту были на шумном острове в толпе танцующих.

Проворов ни о чем больше не мог думать, как о том лишь, что сию минуту увидит ее; он тяжело дышал, и в его глазах все сливалось и мелькало.

Тротото притащил его к стене, где сидело несколько почтенных особ, и, обратясь к одной из них, произнес, словно воркующий голубь:

— Мой дорогой друг, офицер Конной гвардии полка Серж Проворов, умирает от нетер-

пения иметь счастье быть представленным вам.

Та, к которой подвел Проворова Тротото и представил, не имела ничего общего с обликом, неотступно преследовавшим Проворова. Сухопарая, немолодая, она не только казалась некрасивой, но принадлежала к тем, которые никогда и не были красивы — один нос ее, совершенно башмакообразный, чего стоил! — и к довершению всего на щеках ее виднелись следы давнишней оспы. Ее открытая шея с повязанной черной бархоткой была осыпана слоем густо наложенной пудры и морщилась. Лицо было жирно нарумянено, а глаза подведены так, как это делают старухи, потерявшие всякую меру в восстановлении своих прелестей путем красок и притираний.

II

Положение Проворова казалось до ужаса жалостным: в самом деле, он мечтал быть представленным красавице, и вдруг камер-юнкер Тротото подвел его к какой-то замаринованной мумии!

Но этого мало. Сергею Александровичу пришлось протанцевать с этой мумией вальс,

потому что она, как только ей представили кавалера, выразившего столь ярое, по словам Тротото, желание познакомиться с ней, вся взволновалась и затрепетала от счастья и, быстро сложив веер, которым обмахивалась, вскинула ему руку на плечо. Про-ворову не оставалось больше ничего иного, как завертеться с нею в танце. Он не знал, что это был ее первый вальс за много десятилетий на придворном балу. Она вечно сидела у стены, и ее никто не приглашал. «Вывеска не позволяла», — как говорили шутники.

Фрейлина так обрадовалась, что наконец-то и у нее нашелся собственный кавалер, что, сделав с ним тур вальса, не удовольствовалась этим и повисла у него на руке, таща его в ту сторону, где на покрытом красным бархатом возвышении находилась государыня, окруженная важнейшими сановниками и придворными.

— Мсье Серж, мсье Серж, — повторяла она, крепко держа молодого человека под руку, — пойдете, посмотримте нового фаворита Зубова! Вы видели нового фаворита Зубова?

И несчастный «мсье Серж» должен был ид-

ти с Малоземовой, пробираясь через толпу и между танцующих пар к месту, где была императрица и где был такой блеск от бриллиантов, золотого шитья мундиров, атласа и парчи, что слепило глаза и трудно было смотреть.

Дама Проворова утопала в блаженстве. Она, стараясь щебетать как птичка, без умолку тараторила:

— Вы видите старика? — Это Левушка Нарышкин... вы, конечно, знаете его. А там, молодой, это — князь Куракин, светило будущего царствования, любимец наследника. А вы знаете, наследника нет сегодня: отговорился болезнью и не приехал из Павловска. Но этого не заметили! Вон-вон, видите Зубова? По моему, он, конечно, красив, но в нем нет ничего особенного. Есть люди гораздо красивее его.

Проворов увидел сидевшую в высоком золоченом кресле государыню с ее правильным строгим, величественным профилем и высокой, пудренной по старинной моде прической с бриллиантами в волосах и возле нее Платошку Зубова во флигель-адъютантском

мундире с аксельбантами, заколотыми бриллиантовым аграфом. С лица он был все такой же розовый, с черными, как по нитке выведенными, бровями и пунцовыми сочными губками. Осанка же его и вся манера держаться сильно изменились. Теперь Зубов непременно стоял среди знатнейших персон, и великолепный сановитый Левушка Нарышкин как-то особенно любезно и почтительно склонился к нему, и все лица были обращены в его сторону с явно выраженной готовностью к услугам и преданности. Месяц тому назад никто и не взглянул бы на молодого скромного конногвардейского офицера, а теперь он являлся центром, к которому было устремлено все внимание блестящей придворной толпы.

— А вы могли бы быть на его месте! — услышал за собой чей-то голос Проворов и оглянулся.

Произнесенные слова он расслышал совершенно определенно и ясно, они были сказаны сзади у самого его уха, так что он даже почувствовал теплоту дыхания сказавшего, но, когда оглянулся, не мог заметить, кто это был.

И сзади, и возле них, кругом двигалась толпа, и напрасно Сергей Александрович всматривался — никому, казалось, не было до него дела. Все были заняты, в особенности тут, возле возвышения, исключительно тем, что происходило на этом возвышении.

Впрочем, Проворов огляделся только мимоходом. Ни то, что ему шепнули, ни его похожая на мумию дама, ни вся эта роскошь, ни его недавний товарищ по полку в своем новом положении не могли отвлечь его внимание от того, что не давало ему покоя: он был уверен, что девушка, говорившая с ним из окна в Китайской деревне, должна была быть здесь, на балу, и хотел отыскать ее и увидеть во что бы то ни стало. И он смотрел, смотрел во все глаза кругом, чтобы увидеть ее, и внутренне желал только одного этого, и за это отдал бы навсегда и весь этот бал, и всех, кто был на нем. Но ее тут не было.

— Знаете что? Тут душно, позвольте отве- сти вас на воздух, — предложил он своей неотвязчивой даме.

— Ах, это великолепно! — обрадовалась та. — Именно, пойдете на воздух! — И она

рванулась в сторону двери.

Проворов последовал за нею, чтобы продолжать свои поиски и тайно надеясь, что ему как-нибудь все-таки удастся отделаться от мумии, поручившей себя его охранению.

В широких дверях павильона толпа сошлась воронкой, и тут образовалась серьезная давка. Проворова стиснули, и он должен был отпустить руку дамы, его подхватили течением и вынесли на свежий воздух. Последнее, что он слышал, был возглас томной мумии:

— Мсье Серж, я погибаю!

Но Проворов уже торжествовал свое освобождение, он очутился один и кинулся стремглав подальше от павильона, чтобы обегать все дорожки и осмотреть всюду, где были гости. Он переправился опять на пароме, и ему там снова попался камер-юнкер Тротото.

— Послушайте, кому вы меня представили? — накинулся на него Проворов.

Он сделал это так свирепо, что Тротото присел на своих бульонных ножках и, всплеснув руками, воскликнул:

— Ах, моя радость, вы меня совсем испуга-

ли и повергли в страх! Кому я вас представил? Но позвольте! Ведь вы сами просили меня представить вас фрейлине Малоземовой!

— Ну да, я просил вас представить меня фрейлине Малоземовой.

— Но ведь я так и сделал... Я увенчал ваше страстное желание.

— Но ведь я вовсе не той просил... Это — старуха какая-то!

— Ну, моя радость, другой фрейлины Малоземовой нет.

— Вы наверное знаете?

— Ну еще бы! Да это не только я, это знают все! — и в голосе камер-юнкера Тротото слышалась нотка обиды: как это кто-нибудь мог даже предполагать, что он и вдруг не знает всех фрейлин! — Фрейлина Малоземова, — продолжал он наставительно, — была пожалована на это звание еще при императрице Елизавете Петровне и с тех пор носит его с честью.

— Скажите, — перебил его Проворов, — она живет сейчас в Китайской деревне?

— Ну да, моя радость, в Китайской деревне.

— Ас ней или при ней нет никакой моло-

дой родственницы?

— О нет, наверное нет! Фрейлина Малоземова известна тем, что терпеть не может ничего молодого... То есть очень молодого. При ней живут две очень старые компаньонки, и, когда они выходят все вместе гулять с собачонками, про них Лев Александрович говорит, что вон «три парки гуляют в парке»...

Но Проворов уже не слушал, убедившись, что ту, которую он искал, зовут вовсе не Малоземовой и что она ничего общего не имеет с этой фамилией, и устремился искать ее дальше. Он обежал по нескольку раз все дорожки, снова побывал на острове, заглядывал в павильон, где танцевали, снова кидался во все стороны и снова не находил той, которую страстно желал видеть и искал. Оставалось только предположить, что она не приехала на этот бал. Но почему?

То обстоятельство, что она жила в Китайской деревне, несомненно, значило, что она имела возможность быть и на балу, устроенном в парке, и если ее тут не было, то, очевидно, на это имелись какие-нибудь особые причины.

Кто она?

И этот вопрос стал перед Проворовым, разрушив все надежды и ожидания, которые, казалось, так легко могли быть осуществимы! Он, очевидно, ошибся домиком в деревне и вернулся не к тому, где жила его незнакомка, а к тому, где обитала фрейлина Малоземова.

Казавшаяся ему звучной и приятной фамилия Малоземова теперь, при воспоминании о той, которая носила ее в действительности, была ему неприятна, и он уже не находил в ней ничего звучного.

Проворов, уже разочарованный, направлялся к выходу, желая покинуть зал, как вдруг услышал:

— Серж, мсье Серж... вы меня ищите, меня? Я тут, я тут...

И, прежде чем он успел опомниться, у него на руке с резвостью семнадцатилетней девочки повисла фрейлина Малоземова.

III

Платон Александрович Зубов был третьим сыном Александра Николаевича Зубова, занимавшего в провинции не особенно значительное место вице-губернатора и управля-

ющего именьями генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова. Состояния у Зубовых почти никакого не было, и потому старику приходилось добывать средства частною службою, кроме казенной, для того чтобы воспитать и упрочить положение детей.

А их у него было довольно много: три дочери и четверо сыновей. Последние все служили на военной службе, помимо которой по тому времени нельзя было сделать карьеру, причем все молодые люди, искавшие счастья, старались устроиться в Петербурге, по возможности в гвардейских полках.

Старший из братьев Зубовых, Николай, служил в гвардии недолго, перешел в армию и сумел там обратить на себя внимание Суворова, с которым был в турецком походе. Следующие его братья, Дмитрий, Платон и Валериан, не последовали его примеру и продолжали оставаться гвардейцами, предпочитая жизнь в столице при дворе тягостям похода. Платон и Валериан служили в Конном полку и ничем не отличались от прочих офицеров вплоть до внезапного возвышения Платона.

Как это случилось, он и сам хорошенько не

знал. Ни о чем он не мечтал, ни о чем не раздумывал. Родители определили его с братом в Конный полк и высылали им, сколько могли, денег на содержание. Жили они скромно, так как приходилось быть расчетливыми, должны понемножку, но в кутежи и попойки не втягивались, в особенности Платон. Делал он это не по высоте своих духовных качеств, а потому, что в равной мере с остальными богатыми товарищами кутить не мог; вследствие этого он предпочитал лучше вовсе не участвовать в их широкой жизни. Сидя, бывало, у себя за клавесинами, он играл чувствительные мелодии и как будто чего-то ждал от жизни, но чего именно, сознательно не обдумывал.

И вдруг нежданно-негаданно судьба поставила его на такую высоту общественной лестницы, о которой он и не мечтал. Своим возвышением он был обязан самому простому случаю, и никаких покровителей особенных, ни сложной интриги для того, чтобы выдвинуть именно его, а не кого-нибудь другого, не было.

Когда занимавший до него его место Дмит-

риев-Мамонов, по мнению всех, сделал непростительную глупость, влюбившись в княжну Щербатову и рискнув испросить у государыни разрешение жениться на ней, ближайšie к императрице лица, чтобы услужить ей, поспешили найти ему заместителя.

Попался под руку Платон Зубов на дежурстве, и они взяли его, потому что внешность его соответствовала тому, что было нужно.

Платон Зубов был обязан всем покровительству Марии Саввишны Перекусихиной, статс-дамы Анны Никитишны Нарышкиной и личного камердинера императрицы Захара Зотова. Эти три лица нашли в Платоне «подходящего паренька», потому что он был «тихенький», и «случай» его получил осуществление.

И «тихенький» Зубов стал на головокружительную высоту непредвиденно и неожиданно для всех. Пока прочили и гадали, кто займет место Дмитриева-Мамонова, и высчитывали, у кого из придворных есть «шансы», это место занял простой дежурный, двадцатидвухлетний секунд-ротмистр Конногвардейского полка.

Однако высота, на которую попал Платон Зубов, несмотря на всю свою головокружительность, не вскружила ему головы настолько, чтобы он потерял ее. Необщительный, не болтливый, а молчаливый и сдержанный обыкновенно и прежде, он теперь сделался еще более необщительным и сдержанным. Но нельзя было упрекнуть его при этом в неприветливости. Напротив, он глядел на всех как будто благосклонно и улыбался, но никто не мог с уверенностью сказать, что таилось за этою его благосклонною улыбкою. Он, казалось, улыбался и запоминал все кругом, и отмечал в своей памяти, кто и как к нему относится и кто ему нравится и кто нет.

Эта его манера держаться, в сущности, наиболее соответствовала тому положению, которое ему пришлось занять, и создавала вокруг него некоторый трепет. Разгадать Зубова сразу не могли и потому боялись. Это послужило к тому, что, в то время как его предшественник Дмитриев-Мамонов не пользовался никаким особенным вниманием и доказательством преданности со стороны придворных тузов (напротив, они играли на том, что

они его поддерживают и помогают ему), Платон Зубов с первого же месяца своего возвышения был окружен искоманием, и его приемная с утра наполнялась видными савошниками и поседевшими на службе вельможами.

Те же, кто знал Платона Зубова ближе, например товарищи по полку, понимали, что его манера держаться происходит вовсе не от его ума и каких-нибудь особенных способностей, а, напротив, является следствием его ограниченной глупости, природной трусости и лени. Чигиринский давно заметил, что Платон Зубов молчит потому, что ему просто лень разговаривать, так как для какого ни на есть разговора нужно все-таки думать, а «Зубову думать нечем». Улыбается же он потому, что привык казаться любезным, так как только любезностью и мог взять на положении молоденького и ничего не знающего офицера без средств и связей. И маска этой улыбки так и осталась у Зубова, потому что он не умел придать никакого иного выражения своему лицу. Не совался же он в рассуждения и казался сдержанным потому, что в полку его

столько раз товарищи сажали в дураках, дружно высмеивая его глупость, как только он совался с рассуждениями, что он предпочел раз навсегда сделать вид, что он — вовсе не дурак, а даже и очень себе на уме.

Но статности фигуры и миловидной красоты лица никто не отрицал у Платона Зубова. Что он — красавчик, все это находили и повторяли в один голос; это он и сам знал и щеголял своей красотой.

IV

Сознавая свою красоту, Зубов стал заботиться о ней особенно тщательно с тех пор, как попал в честь и знатность. С утра, пока в его приемной толпились важные сановники в ожидании чести быть принятыми, он посвящал свое время такому же уходу за собою, как могла это делать разве только молодая кокетливая женщина.

Того широкого размаха барственности и расточительной щедрости, которою отличался Потемкин, у Зубова и тени не было. Пышность и роскошь, которыми он окружил себя с первых же дней своего могущества, выказывали только его жадность и сквалыжниче-

ство. Несмотря на свою склонность к музыке, он и не думал покровительствовать искусствам, и ни один художник, ни один музыкант не был поощрен им. Он не приобретал ни картин, ни ценных вещей, выдающихся искусством отделки, но покупал себе необделанные самоцветные камни и прятал их в шкатулку, причем любимым занятием его было, открыв шкатулку, пересыпать камни из одной руки в другую.

Единственно, к чему еще имел кажущееся пристрастие Зубов, это к нарядам и к всевозможному платью, но и то потому, что это платье приносили и подавали ему помимо его заказов и распоряжений, так что ему оставалось только выбирать любое.

Все эти черты характера определились у Зубова очень скоро и, конечно, немедленно были подмечены окружавшею его челядью, приставленною к нему в качестве прислуги. Его парикмахеры, портные, камердинеры, выездные и дворецкие сразу угадали, как именно надо служить ему, и окружили его целою системой сплетен, наушничанья, доносов и шпионства. В глаза Зубову все старались, ра-

зумеется, аттестовать себя друзьями, а за глаза все ему были враги, потому что завидовали ему и злорадно мечтали о том, что он ведь может так же легко сойти на нет, как легко и неожиданно для всех возвысился.

Наблюдали и шпионили за ним, но подметить пока ничего не могли, потому что для Зубова слишком была заметна перемена между тем, что он был и что стал, и он слишком боялся упустить упавшее на его голову «счастье». Он боялся потерять это счастье и с трепетом душевным прислушивался ко всему тому, что ему нашептывали.

При дворе императрицы боролись тогда два течения, или две силы: влияние цесаревича Павла Петровича и своевластие светлейшего Потемкина. Все остальные маленькие стремления, подчас даже принимавшие облик значительности, все-таки так или иначе примыкали к одному из этих противоположных полюсов придворной петербургской жизни того времени.

Может быть, будь Платон Зубов умнее и пожелай рассудить и выбрать, кого и как ему держаться в его новом положении, он сбился

бы, запутался бы и оказался бы не в силах разобраться в тех тенетах, которые плелись во дворце в ежедневных закулисных буднях. Но он не рассуждал и не раздумывал, а инстинктивно начал действовать, с чисто животным самосохранением огрызаясь в ту и другую сторону. А так как он находился ближе всего к источнику всех благ и милостей, то и имел возможность воздействовать. И мало-помалу как бы само собою образовалось третье течение — его, Платона Зубова, старавшегося без разбора сокрушить все, что могло так или иначе вредить ему. При этом он не разбирал важного от неважного, действовал огулом, и в этом, пожалуй, был залог его успеха.

Зубов считал себя на такой высоте, где равного ему не может быть, так как всякий, кто смел рассчитывать сравняться с ним, тем самым становился его соперником, а этого было достаточно, чтобы он явился его злейшим врагом. Поэтому дружбы, всегда предполагающей союз равноправных, не могло существовать для Зубова. Он знал теперь людей, льстивших и пресмыкавшихся перед ним (их

было большинство) и открыто выказывавших ему свое презрение. Таких было немного, но они все-таки существовали, и их особенно ненавидел Зубов.

Каждый день во время туалета, пока парикмахер тщательно занимался его прическою, подавали ему на золотом подносе груды писем и записок. Тут были приглашения на всевозможные балы, празднества, обеды, спектакли, так как все, разумеется, наперебой желали видеть у себя такую персону, какой стал Зубов, а многие нарочно тратили тысячи, чтобы задать для него пир. Затем здесь были просьбы и жалобы по самым разнообразным личным делам и, наконец, целый ряд анонимных писем с доносами, предупреждениями и всякими наветами, которые сочинялись либо ярыми интриганами, либо просто злыми людьми, рассчитывающими таким образом отомстить и разделаться со своими врагами.

Приглашения Зубов отбирал и сортировал, одни — отбрасывая, другие — оставляя. Просьбы и жалобы он разрывал не читая; что же касается анонимных писем с доносами, то

их он тщательно собирал, прочитывал с большим вниманием и терпением и прятал в особый портфель, старательно и аккуратно прикладывая одно к другому те из них, которые относились к одному и тому же лицу.

Между прочими у него набрался порядочный запас анонимных сведений о его товарище по полку Сергее Проворове, таком же секунд-ротмистре, каким был и сам он еще недавно. Тайнственные корреспонденты, не подписывавшиеся своими именами и заверявшие в своей преданности и безусловной готовности принести всякую пользу, предупреждали Зубова, чтобы он остерегался секунд-ротмистра Проворова, который сильно рассчитывает рано или поздно занять его место и обладает какими-то таинственными ходами, которыми он может воспользоваться для достижения этой цели. Ведь необходимо принять во внимание, что и случайное возвышение самого Зубова произошло как раз на дежурстве, которое он занял вместо Проворова, что дает-де последнему в особенности надежду считать свои мечты осуществимыми.

Зубов никогда не был любим в полку, взаимно тоже не любил вообще товарищей и держался от них в стороне. Но среди этих товарищей был кружок так называемых «теплых ребят», которые особенно изводили его своими насмешками и против которых он таил особенную злобу. Главным коноводом этого кружка был ротмистр Чигиринский, а его последователем — Проворов.

Зубов давно уже не без злорадного удовольствия помышлял о том, как теперь почитаться с ними. Анонимные же письма, предупреждавшие его еще об опасности со стороны Проворова, доказывали ему уже прямую необходимость взяться за дело самым серьезным образом.

V

Когда пришла очередь дежурить опять полку Конной гвардии в Царском Селе, Зубов был осведомлен об этом, потому что велел подавать себе ежедневно записку о том, какие воинские части занимали караулы во дворце. Увидев в списке дежурящих офицеров имена Чигиринского и Проворова, он осклабился злорадною улыбкою. Ему было приятно со-

Знавать, что вот они там где-то дежурят и должны будут ночь не спать и в бессонную эту ночь на дежурстве обдумывать свои делишки — как достать денег или беспокоиться о своей лошади, которую, того и гляди, опоят или иначе как-нибудь испортит конюх, а он, Зубов, в свое удовольствие нежится тут же, во дворце, который они стерегут, и не только ни о чем не беспокоится, но стоит только ему пожелать, и они были бы осчастливлены. Захочет он — и они получают награду или солидный куш денег и смогут себе купить еще двух лошадей, заплатить долги и кутнуть в свое удовольствие.

Но он этого не захочет! Тут они лебезят и пресмыкаются пред ним, как и лебезят, и пресмыкаются теперь сотни вельмож — не им чета. Конечно, и они не отстанут от других, и им, вероятно, захочется получать что-нибудь через их «бывшего товарища».

Хорошо же, он покажет, какой он товарищ! Он сначала даже поощрит их искательство, сделает вид, что и не помнит их надругательств, а потом, натешившись их унижением, даст им щелчок, просто скажет: «По-

шли вон» — и прогонит их, как лакеев, а затем... затем сосчитается с ними, как только можно.

Как именно он будет считаться с ними, Зубов и сам еще не знал хорошенько, но в том, что это будет сделано, он не сомневался, и чем скорее, тем лучше.

А пока мысль просто повеличатся перед своими недавними однокашниками по полку так понравилась Зубову, что он, взяв трость и шляпу, отправился гулять в парк вокруг дворца, рассчитывая, что, вероятно, встретит кого-нибудь из однополчан, потому что это был час как раз проверки постовых часовых.

И в самом деле, стоило ему только сделать несколько шагов по парку, как он издали увидел шедших ему навстречу Чигиринского и Проворова. Они шли и весело о чем-то беседовали. Сергей Александрович держал Чигиринского под руку и смеялся.

«Вот они сейчас увидят меня, — мелькнуло у Зубова, — и лица у них станут заискивающе-почтительными. Любопытно!»

Но конногвардейцы приближались и, казалось, так были поглощены своим разгово-

ром, что даже не замечали Зубова. Наконец они совсем поравнялись с ним и все-таки не оказали никакого внимания по отношению к нему.

— Господа, — резко остановил их Зубов, повышая голос и встряхивая плечами, где блестели новенькие его полковничьи эполеты, — отчего вы не отдали мне чести?

Чигиринский, приостановившись и обернувшись, небрежно кинул ему в ответ: «А разве ты потерял ее?» — а лицо Проворова озарилось презрительной усмешкой.

Этого уже не мог стерпеть Зубов.

— Господин ротмистр, — крикнул он, побавровев, — по воинскому артикулу вы обязаны салютовать вашему полковнику, в каком чине я нахожусь, и вам должно быть это известно.

— Господин полковник, — спокойно ответил Чигиринский, — по воинскому артикулу я должен салютовать при встрече только генералу, полковнику же салют полагается только в строю.

Вслед за тем Чигиринский взял под руку Проворова и, ясно показывая, что не желает

задерживаться с Зубовым, пошел дальше, как будто ничего особенного не случилось.

Когда Зубов чуть не бегом вернулся во дворец, в свои комнаты, с ним сделалась истерика.

Чигиринский же с Проворовым продолжали свой путь, и им после встречи с Зубовым стало еще веселее.

— А знаешь что? Ведь он нам теперь будет непременно мстить за это, — сказал Проворов.

— Почему же «нам»? — ответил вопросом Чигиринский. — Ведь сию полную остроумной резвости беседу вел с ним я один. За что же обрушит он гнев свой на тебя купно со мною?

— За то, что я тут присутствовал и явно держал твою сторону.

— А ты боишься?

— Чего это?

— А вот что этот сударь будет мстить нам?

— Да я думаю так, что все равно тут, бойся или не бойся, от его злобы не уйдешь. Так уж лучше наплевать — что будет, то будет. Надо, по-моему, делать то, что считаешь порядоч-

ным и честным, а там пусть происходит то, что должно совершиться.

— Правильно! Ну а скажи теперь, что в данную минуту ты считаешь порядочным и честным сделать?

— В каком смысле?

— В смысле направления твоих дальнейших шагов. Я так полагаю, что самое порядочное для тебя теперь направить их в Китайскую деревню. Сознайся, что я прав?

Чигиринский угадал верно. Да и сделать это ему было немудрено: Проворов действительно собирался пойти в Китайскую деревню, чтобы еще раз попытаться найти домик уже не фрейлины Малоземовой, а тот, где жила виденная им незнакомая девушка.

— Слушай, Чигиринский, если ты будешь смеяться, я никогда ничего тебе рассказывать не буду, — обидчиво произнес он.

— Ну, пустяки! Я вовсе не смеюсь над тобой. Ну, иди, иди, я тебе мешать не буду! — И с этими словами Чигиринский отпустил руку товарища.

Они были уже у мостика с китайскими фигурами, и Проворов устремился к деревне,

оглянувшись для того, чтобы убедиться, что Чигиринский не смотрит ему вслед. Но тот повернулся и шел уже по направлению к дворцу.

В Китайской деревне опять нельзя было никак ничего распознать. Все домики казались так похожими один на другой, что Проворов снова остановился, беспомощно оглядываясь. Теперь он желал одного: найти тот дом, где жила фрейлина Малоземова, чтобы никогда уж не останавливаться перед ним.

Пока он стоял, теряясь и раздумывая, окно над розанами пред ним распахнулось, и старая фрейлина с жеманной улыбкой выглянула из него и сказала певучим голосом:

— Мсье Серж! Я знала, что вы придете... Я ждала вас. Так суждено самим небом!

VI

Аглая Ельпидифоровна Малоземова, пожалованная во фрейлины покойною императрицею Елизаветою Петровною более сорока лет тому назад, весь свой долгий век ждала появления того сказочного королевича, который придет за нею, чтобы назвать навеки своею.

Шли годы, а никто не приходил, оспа ис-

портила и без того некрасивое лицо Малоземовой, она состарилась, но не зоя унывала и продолжала ждать. Ни связей, ни важных знакомых, ни именитого родства у нее не было. Попала она во фрейлины только благодаря своей русской фамилии и хорошему русскому происхождению.

Когда императрица Елизавета Петровна после совершенного ею переворота вступила на престол, началось гонение на все немецкое, и государыня старалась окружить себя исключительно русскими людьми. Тогда на первых порах между другими была произведена во фрейлины и Аглая Ельпидифоровна Малоземова, дочь одного из лейб-кампанцев, способствовавших Елизавете Петровне вернуть себе отцовский престол.

С тех пор Малоземова не пропускала ни одного придворного бала, но ни разу никто не сжалился и не пригласил ее ни на один танец, хотя она усердно училась этому искусству и брала уроки танцев, дорого платя учителям. Бедная, она была обречена на вечное сидение у стены. Кавалеры, самые завалящие, самые малозначащие, все, как один, обходи-

ли ее, а она не смущалась, не унывала и ждала, ждала.

Каждый раз, собираясь на бал, она мечтала, что вот на этот раз встретит «его», и он придет. Ее две компаньонки гадали ей и на картах, и на кофейной гуще и предрекали непременно исполнение ее желаний, что-де есть на свете пригожий добрый молодец, который тоскует по ней, сокрушается и явится перед нею, как лист перед травой.

Малоземовой так хотелось, чтобы это случилось, что она верила этим предсказаниям, а приживалкам-компаньонкам только этого и надо было. Они изоцрялись, как только могли, не стесняясь вранья, и расписывали даже внешность готового, по их уверениям, жениха. Он был военный, «шантрет», с соколиным взглядом, статной фигурой и с очень звучной фамилией.

И каковы же были радость и торжество маленького мирка фрейлины Малоземовой, когда она, вернувшись с последнего бала на пруду, торжественно объявила о случившемся, то есть о том, что сидит она на бале в танцевальном павильоне и ничего не ожидает, а

так, обмахивается веером, и вдруг подлетает к ней камер-юнкер Артур Эсперович Тротото и говорит: «Позвольте представить вам человека, который... » И тут он так упоительно выразился, что просто и повторить нельзя, это можно только чувствовать. А рядом с ним стоит «он», «шантрет».

— Фигура статная, — подсказала одна компаньонка.

— Орлиный взгляд, — подхватила другая.

— Все, все! — подтвердила Аглая Ельпидифоровна. — Я подняла руку, положила ему на плечо, и мы закружились вдруг в упоительном вальсе.

Она так часто представляла себе в мечтах, как все это будет, что теперь действительность сливалась с мечтами, и она рассказывала, фантазируя и сама того не замечая.

Компаньонки ахали и в благоговейном умилении повторяли проникновенным шепотом:

— Мы говорили, мы говорили... уж карты не солгут, уж вот все произошло как по писаному, как есть все!

На другой день после бала и своего первого

в жизни вальса шестидесятилетняя Аглая Ельпидифоровна вместо двух часов, которые она просиживала перед зеркалом обыкновенно, просидела четыре. Она вся была вытерта розовою водой, нарядилась в белое кисейное платье с розанами и на голову надела тоже веночек из роз.

Весь эпизод бала был рассказан ее компаньонкам снова, они же потребовали нового повторения, и она повторяла еще, каждый раз с новыми подробностями. Она была уверена, что мсье Серж, или просто Серж, как она называла Проворова заочно, поспешит сейчас же, то есть на другой день после бала, к ней.

Когда же Проворов не приехал, Малоземова немедленно объяснила себе это тем, что, вероятно, он не знал, где она жила, а может быть, и считал не деликатным явиться к ней, в ее девичий «уголок», не представившись ее родителям. Он ведь и не знает, что ее родители умерли.

Аглая Ельпидифоровна заставляла компаньенок гадать, что станет дальше. Те не стеснялись в предсказаниях: одна по тща-

тельном рассмотрении кофейной гущи вещала, что, мол, королевич, краше которого не было на земле, сам придет за своею желанной; другая раскладывала карты, читала в них неожиданность «червонного интереса в собственном доме», потому что бубновый король, который самый «он» и есть — ну вот голову снимите сейчас! — только и думает что о своем предмете сердечного влечения.

Аглая Ельпидифоровна верила и гуще, и картам, так как им теперь уже, раз они столь дивно и явственно предсказали главное, не верить нельзя было. Она ждала, каждый день натираясь розовою водою и украшая себя невинными туалетами моды прошлого царствования.

Целый день она сидела теперь у окна, боясь пропустить предсказываемого гаданиями появления Сержа, и даже гулять почти не выходила в парк.

Компаньонки сидели с нею и выслушивали в тысячный раз рассказ о бале или повторяли свои предсказания, стараясь по возможности расцветить их новыми узорами.

Когда же, наконец, перед окном появил-

ся Проворов, Малоземова тихо ахнула, всплеснула руками и, высунувшись, окликнула его. Иначе поступить она не могла. Ей казалось, что совершающееся выше человеческого разума и никак не может уже войти в рамки обыкновенной человеческой жизни.

— Мсье Серж, — сказала она Проворову, — я знала, что вы придете, я ждала вас; так суждено самим небом.

Проворов вздрогнул и остановился, потом взглянул на мумию-фрейлину и опрометью бросился бежать прочь, не останавливаясь.

— Понимаю, — воскликнула Аглая Ельпидифоровна, тронутая до слез, — понимаю... он хотел инкогнито побывать у меня под окном и желал видеть меня наедине. Очевидно, эти дуры помешали ему... Какая тонкая деликатность с его стороны.

И она обернулась к «этим дурам», то есть компаньонкам, чтобы разбранить их, зачем они помешали. Но «дур» уже не было. Как только показался Проворов, они обе юркнули под стол, именно чтобы не мешать, и теперь, пыхтя и сопя, вылезали на четвереньках.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Под семисвечною люстрою снова сидели за покрытым красным сукном девять человек, на этот раз под председательством доктора Германа. Это было чисто деловое собрание избранных главарей без всяких атрибутов, церемониалов и обрядов, рассчитанных на человеческое воображение. Собравшиеся здесь, по-видимому, не нуждались в искусственном и нарочитом взвинчивании и, так сказать, «внушении» через мистическую обстановку. Они хорошо знали друг друга и свое дело, то есть к какой цели направлять и куда вести деятельность масонов в России, которых они были тут главарями.

Конечно, главною их целью было приобретение прочного и по возможности непосредственного влияния на тот источник, откуда исходила вся сила государственной власти. Но до сих пор им это не удавалось. Императрица Екатерина II не только не была склонна к таинственности и магическим опытам, но даже сама в своих литературных трудах

обличала масонство и писала на него сатиры.

При русском дворе ничего не мог поделывать даже приезжавший нарочно в Россию знаменитый кудесник, маг и чародей Калиостро, основавший в Петербурге ложу египетского масонства и кончивший тем, что его выслали за границу по распоряжению властей. А этому Калиостро, именовавшемуся титулом графа, никак нельзя было отказать в очень сильных способностях к интриге и далеко незаурядной ловкости. Во Франции он имел влияние при дворе Людовика XVI и там был руководителем подпольной интриги против этого короля и его супруги Марии Антуанетты. За границей знали Калиостро, и там он имел возможность действовать, у нас же он добился лишь того, что его выслали из Петербурга.

Расчет масонов воспользоваться падением Дмитриева-Мамонова, чтобы поставить на его место своего человека, тоже не удался у них. А между тем в царствование Екатерины даже многие вельможи принадлежали к обществу масонов, или вольных каменщиков, и все-таки они не могли добиться никакого серьезного значения.

Девять главарей, собравшихся под семи-свечной люстрой, были очень серьезны и казались опечаленными.

— Нет, — произнес доктор Герман, — недаром великий Коптаноте 5, провожая меня в Россию, сказал мне, что в этой стране наше братство встречает какое-то странное неизведанное препятствие.

— Да, — подтвердил сидевший справа от доктора Германа, — ведь и сам он, приехав в Россию, не имел здесь успеха.

— Мы думали, — продолжал доктор, — что здесь действует противоположное масонам тайное общество, но по тщательным исследованиям оказалось, что подобное предположение не подтверждается. Действительно, в России возникало несколько подпольных кружков, ставивших себе целью противодействие работам вольных каменщиков, но они вскоре падали сами собою, потому что были лишены каких бы то ни было занятий. И тем более странно, что все мастера, приезжавшие в Россию для утверждения масонской работы, неизменно встречали противоположную волну. В этом, к сожалению, я сам должен был

убедиться только что, когда столь тщательно подготовленный план относительно Сергея Проворова потерпел крушение.

— Насколько мы можем понять, действительно что-то случилось: он не занял места Дмитриева-Мамонова.

— Случилось то, что он отказался, так как не пожелал пойти на условие безапелляционного подчинения нам. Он ни за что не хотел связывать себя обязательством, находя, что это будет предательством с его стороны, и ничем нельзя было соблазнить его. Он твердо держался, не отступая от предрассудка, называемого в общежитии «честью». Эта честь ему дороже всех благ, которые обещало ему предложенное положение. Мало того! Он, по-видимому, и теперь, после того как отказался, не чувствует ни сожаления, ни зависти к заменившему его Зубову: на последнем балу, когда он смотрел на возвышение, где сидела государыня, окруженная придворными, склонявшимися пред Зубовым, ему шепнули, что он мог бы быть на его месте, но он остался совершенно равнодушным к этому и даже в лице не изменился, а обернулся лишь, чтобы по-

смотреть, кто мог ему шепнуть на ухо.

— Что же вы сделали с ним после того, как окончили свой разговор после его отказа?

— Конечно, поступил по нашему обычному в таких случаях приему: сказал, что наш разговор был только испытанием и что он признан достойным быть посвященным в степень масонства.

— Значит, его нужно причислить к неисправимым идеалистам, которых, таким образом, станет среди нас одним больше.

— Ну что ж! И идеалисты нужны в наших рядах. Ведь они создают в глазах общества уважение масонству. Надо только, чтобы эти идеалисты были открыто известны как масоны... Впрочем, это — подробности, и не в них дело; нам нужно решить вопрос, что предпринять ввиду нашей неудачи. Мы сошлись сегодня для того, чтобы обсудить, что делать.

II

На этот прямо поставленный вопрос стали давать ответы по очереди.

Один сказал, что, по его мнению, следует постараться достичь падения Зубова и немедленно поставить на его место своего надеж-

ного человека.

Другой сделал предложение: вместо того, чтобы свергать Зубова, привлечь его самого на сторону масонов.

Третий предложил получить влияние на императрицу иным каким-нибудь путем, оставив в покое людей, находившихся «в случае», потому что эти люди могут меняться от простого каприза.

Четвертый посоветовал приобрести масонам влияние в России на духовенство и действовать через него.

Пятый сказал, что нечего задаваться какой-то расплывчатой целью «влияния вообще», а просто нужно ставить себе каждый раз определенные частные задачи и достигать желаемого в отдельных случаях.

Шестой заявил, что главное во всяком деле — деньги, и если центральный союз за границей хочет, чтобы масоны получили желаемую силу и значение в России, то пусть не скупится на присылку сюда денег.

Седьмой высказал соображение, что того, чего добились масоны в России, на нынешнее время достаточно и что следует развивать де-

ло мало-помалу, так как всякий скачок вреден и может грозить потерей даже того, что достигнуто.

Наконец, восьмой предложил сплотиться вокруг недавно еще всесильного князя Потемкина Таврического, поддержать его слегка пошатнувшееся могущество и укрепиться, таким образом, через его посредство.

Председательствовавший доктор Герман выслушал всех внимательно, не перебивая, а потом заявил:

— Все эти предложения очень хороши и могли бы быть с успехом использованы, но вы упускаете из виду одно обстоятельство: волю самодержавной императрицы всей России, Екатерины. Вы так или иначе желаете влиять на нее, и все сделанные вами предложения сводятся к этому. Но опыт двадцати семи лет, в продолжение которых она царствует, показал, что эта воля непреклонна, и если она что-нибудь определенно положила себе, то никакие силы не могут заставить ее изменить свое решение или мнение. А каково ее мнение о масонах, мы знаем. Значит, какие бы мы ни придумывали планы действий, нам

ничего нельзя добиться, потому что невозможного достичь не в состоянии даже наше совместное стремление. Императрица упорна и настойчива, масонов же настолько недолюбливает, что даже сама пишет на них сатирические произведения.

— Что же тогда делать? — спросили в один голос присутствующие.

— Ждать! — твердо ответил Герман. Ропот недовольства прошел по собранию.

— Ждать, — заговорил сидевший рядом с доктором почтенный человек, — ждать! Но ждать хорошо, когда имеешь более или менее определенный срок, когда видно впереди нечто такое, на что можно надеяться; между тем наше положение в России, по-видимому, вы сами признаете совершенно безнадежным, и ждать в таком положении равносильно отказу от всякой деятельности, а это противно всем статутам нашего братства.

— Прежде всего, статуты братства вольных каменщиков, — спокойно возразил Герман, — предписывают полное и безусловное повиновение старшим степеням, и я, как старший из вас по степеням, мог бы потребовать у вас

подчинения без всяких объяснений. Но на этот раз, ввиду важности дела, о котором мы беседуем, я дам вам объяснение, чтобы вы могли действовать в дальнейшем сознательно. Нам не на что надеяться при Екатерине, но это не значит, что нужно сложить наше оружие. Масонские треугольник, шпага и светильник не для того вручены нам, чтобы мы бездействовали. Но я сказал, нам надо ждать, и, конечно, имел в виду определенный момент, с наступлением которого должно явиться наше торжество — понимаете ли, полное торжество, и не гадательное, не воображаемое, а действительное, осязаемое! Императрица Екатерина не вечна. Годы ее таковы, что в более или менее близком будущем можно предвидеть естественный конец ее царствования. Составленные по этому поводу гороскопы все доказывают одинаково: через семь лет в России будет новый император. Наследник цесаревич Павел Петрович взойдет на престол. Вы настолько посвящены в дела, что знаете, как он относится к братьям-масонам и как увлекает его все таинственное. Мы можем рассчитывать, что переход власти

в его руки будет равнозначен переходу ее к нам, и мы сразу станем хозяевами в России. Ведь Павел Петрович — не только надежная опора для нас, но он настолько уже находится под нашим влиянием, что станет просто нашим оружием. Вот и все! Через каких-нибудь семь лет власть в России сама собой перейдет к нам. Кажется, стоит подождать и вооружиться терпением. А пока пусть императрица Екатерина действует против масонов, пусть пишет на них сатиры, пусть даже воздвигает гонение на братство вольных каменщиков! Тем лучше для нас, потому что, чем круче с нами будут обходиться в Петербурге, тем благосклоннее будет к нам Павел Петрович в Гатчине. Ведь каждому известно, что он поступает наоборот тому, что делают императрица и ее правительство. Достаточно опалы при большом дворе, чтобы заслужить полное благорасположение у наследника. Итак, будем ждать, потому что в конце концов нас ждут торжество, власть и могущество в России!

Эти соображения, по-видимому, произвели то впечатление, которое желал вызвать док-

тор Герман, то есть все почувствовали безусловную их справедливость.

Действительно, склонность наследника престола Павла Петровича ко всему таинственному и его пристрастие к так называемым оккультным, или герметическим, наукам были общеизвестны; кроме того, все знали и о его стремлении во что бы то ни стало действовать наперекор всему тому, что делалось императрицею, ее двором и ее сановниками. Поэтому масоны вполне могли рассчитывать на Павла Петровича и ждать его воцарения.

— Теперь же будем стараться об одном, — заключил доктор Герман, — как можно лучше укрепиться в Гатчине у Павла Петровича и направить к этому все наши силы и способности, все наши желания и волю!

И все присутствовавшие враз дружно ударили согнутым пальцем по столу и произнесли в один голос:

— Fiat!

III

Проворов, живший до сих пор в полной беззаботности и не думавший о завтрашнем

дне, вдруг ощутил довольно заметную перемену в окружавшей его жизненной обстановке. В общем, ему и до сих пор жилось не особенно легко в смысле житейских благ, но все же как-то так выходило, что он не думал о завтрашнем дне, и дела его катились сами собою, без серьезных заторов и ощутительных крушений. А тут вдруг все кредиторы, словно стоворившись, накинулись на него и стали требовать денег. Началось с портного, а потом и пошло. Начали приставать, надоедать хуже горькой редьки.

Проворов велел денщику не пускать к себе никого. Но кредиторы, которых денщик гнал вон, обиделись, грозили, что будут жаловаться начальству.

Конечно, их жалоб бояться было нечего: начальство всегда принимало сторону своих офицеров, и из жалоб поставщиков никогда ничего не выходило, но все-таки их пристава-ния были несносны, и вся эта возня с ними отчаянно изводила Проворова.

Однако эти пристава-ния кредиторов и неприятности оказались еще только цветочками, за которыми последовали и ягодки. По-

следние состояли в том, что Проворову, точно по мановению некой волшебной палочки, был прекращен кредит. Это было уже хуже и грозило гораздо более серьезными осложнениями, чем добука от приставаний неотвязчивых поставщиков.

Дошло до того, что нельзя было зайти в кондитерскую Гидля и спросить там чашку шоколада. Не верили и перестали отпускать даже в кондитерской Гидля! Это являлось унижительным, и Проворову пришлось вовсе прекратить посещение кондитерской.

Вместе с тем и товарищи по полку стали как будто коситься на Сергея Александровича и избегать его общества. В знакомых домах принимали его сухо, а там, где давались балы и куда до сих пор всегда приглашали его наравне с остальными офицерами, как будто забыли о его существовании и не присылали ему пригласительных билетов.

Все это не на шутку беспокоило Проворова и ставило его в отвратительное положение. Он был теперь в таком состоянии, что, просыпаясь, с утра думал о том, какая новая гадость может ожидать его сегодня. И действительно,

каждый день приносил ему нравственное страдание тою или иною житейской мелочью.

Сергей Александрович скучал, томился, осунулся весь, побледнел и ходил злой, недовольный, враждебно настроенный ко всему окружающему. Как на грех, и Чигиринский уехал на охоту и пропал недели на две, так что Проворову негде было перехватить хоть немножко денег или хоть кутнуть на счет приятеля.

Мало-помалу нравственная пытка, которой подвергался Сергей Александрович, до того ожесточила его, что он стал раздумывать о том, да стоит ли жить, на самом деле, если все так слагается скверно в этой жизни и если нет в ней просвета?

А откуда было ждать этого просвета Проворову, для которого будущее могло рисоваться лишь в самых мрачных красках? Он отлично сознавал, что, если так продолжится еще некоторое время, ему не представится возможности оставаться в полку.

Выходит, в отставку? Переводиться в армию? Но это значило отказаться от всякой бу-

душности, от всего, что рисовалось в мечтах и что красило жизнь надеждою на радость и счастье. В его годы жизнь сама по себе не представляет ценности, и, когда она грозит перейти в прозябание изо дня в день, она становится тягостью, кажущейся лишней и ненужной.

«Нет тебе выхода и нет тебе просвета», — повторял себе Проворов, а мелкие уколы самолюбия и мелкие дразги и унижения сыпались на него с неудержимою стремительностью.

Дошло до того, что он несколько раз рассматривал более внимательно, чем это нужно было, свой пистолет и раз даже поймал себя на том, что приложил его к виску. Ведь что, в самом деле? Один только раз «чик» — и готово, и все кончено, и нет всей этой гадости и самого нет... все!

Ночами Проворов спал беспокойно, вернее сказать, большею частью и вовсе не спал, а находился лишь в каком-то полузабытьи, в котором чувствовал всего себя и которое не давало ему ни отдыха, ни успокоения.

Однажды, когда Проворов находился в со-

стоянии такого полубодрствования, ему вдруг померещилось, что перед его глазами на некоторой высоте над ним явились золотисто-ясные лучи и стали собираться в светлый образ, очертания которого он узнал.

Это была «она», несомненно, «она». Он не только видел, но, главным образом, чувствовал ее присутствие. Она была прозрачна, словно соткана из золотистого эфира, и еще более прекрасна, чем тогда, когда он увидел ее в окне Китайской деревни.

Это не был сон, но это и не была полная явь. «Она» явилась, как видение, как неземное существо, принявшее человеческие формы, оставаясь вместе с тем воздушной.

«Вот для кого и для чего стоит жить, — решил сейчас же Проворов, ощутив вдруг необыкновенную легкость и прелесть своего существования, — а все остальное — пустяк!»

Между ним и видением, столь ясно показавшимся ему, ничего не было сказано, но они и без слов поняли друг друга. По крайней мере, Проворов понял смысл своей жизни, понял, что они рано или поздно встретятся и навеки будут принадлежать друг другу и что это

случится обязательно, потому что так предопределено самим Провидением.

IV

Утром пришел Чигиринский, он вчера поздним вечером вернулся с охоты и первым делом решил навестить приятеля.

— Ну что, как ты? — спросил он, окидывая взглядом Проворова с ног до головы. — Что это ты, что с тобой приключилось, болен ты, что ли?

— А что?

— Да вид уж очень скверный, — совсем зеленый и похудел сильно.

— Все пустяки! — весело махнул рукою Проворов. — Теперь все для меня — пустяки... понимаешь ли, я видел ее!

— Батюшки мои! Я и забыл, что ты, несчастный страдалец, влюблен, а ваша братия — влюбленные — всегда зеленеет, худеет и имеет вид, словно больна по крайней мере желтухой.

— Нет, Ванька, ты не смейся! Я тебе сказал, как другу.

— Да я не смеюсь. Я говорю только, что теперь понимаю, отчего у тебя вид такой изну-

ренный. Ну хорошо! Где ж это ты ее видел?

— Во сне.

— Послушай, Проворов, — расхохотался Чигиринский. — как хочешь, а я не могу серьезно относиться к твоим сновидениям. Мало ли что грезится! Это все — фантазии!

— Да нет же! Для меня был почти вопрос жизни и смерти. Так дольше существовать я не мог... и вдруг явилась «она».

— Ну хорошо, об этом потом. Твои сны от тебя не уйдут и всегда при тебе останутся. А вот я тебе привез действительную весть, касающуюся нас с тобой обоих.

— Неприятное что-нибудь?

— Почему же ты сейчас думаешь, что уж непременно неприятное?

— Да к этому я уже привык в последнее время. Для меня теперь что ни день, то какая-нибудь гадость непременно случится. Ну, говори, что такое ты привез?

— Да видишь ли, с охоты я возвращался через Царское Село, остановился там на день и узнал...

— Какая нам предстоит мерзость? Понимаю. Ну, выкладывай!

— Мерзость или нет, это, брат, еще — вопрос. Все в жизни относительно и все имеет свою светлую и темную стороны. Дело в том, что, по-видимому, мы очень обозлили Платона Зубова.

— Ну и что ж из этого?

— А то, что он собирается нам мстить. Ты же сам понимаешь, что теперь он — человек, имеющий возможность все сделать, что хочет.

— Да-а! — раздумчиво протянул Проворов. — Теперь я понимаю многое... теперь я понимаю все, что случается со мною в последнее время, все эти гадости.

— А что с тобой случается?

— Да, помилуй, нет прохода от кредиторов, надоедают с утра до вечера.

— Ну, это неважно.

— В долг перестали давать.

— Это хуже!

— И в городе чуждаться меня стали: не зовут никуда, многие едва кланяются, а то и вообще не отвечают на поклон.

— Может, это тебе кажется, ты преувеличиваешь?

— Ас чего мне преувеличивать? Я могу назвать именно тех, кто меня знать не желает. — Проворов назвал целый ряд известных в Петербурге того времени имен.

Чигиринский выслушал очень внимательно и потом спросил:

— Хорошо! Но что же это имеет общего с Платоном Зубовым?

— А то, что теперь для меня ясно, что все это происходит по его проискам.

— Ну и дурак! Станет тоже Зубов теперь возиться с твоим портным или седельником или интриговать против тебя у Елагина и Куракина, чтобы тебе напакостить!

— Но позволь! Ведь все они точно сговорились или кто ордер такой им дал. Ведь все, от ничтожного портного до Елагина и князя Куракина...

— Ну, говорят тебе, что попал ты пальцем в небо и не ковыряй дальше. В твоих неприятностях Платон Зубов, конечно, ни при чем. Тут я вижу нечто другое.

— Что же именно?

— Да ничего больше, как махинация масонов. Ты не пожелал подчиниться их воле и

тем спутал их расчеты, а этого они не прощают.

— Но ведь они же сами признали меня достойным степени, ведь я же рассказывал тебе, как это было.

— Ну да, и нет сомнения, что тебя признали достойным степени лишь для виду, чтобы заставить тебя молчать о том, на какую подлую роль подбивали тебя братцы вольные каменщики. На самом деле они, очевидно, так злы на тебя, что готовы сварить в ложке воды, ну вот и стараются сделать это. Все лица, которых ты назвал и которые перестали тебя звать — масоны. Елагин — масон, Куракин — тоже и все остальные. Это ясно показывает, откуда идет дым, чтобы тебе глаза выесть. А ты, брат, не поддавайся!

— Но неужели масоны настолько сильны, чтобы так нагадить человеку?

— И это вовсе не доказывает их силы. Что за вздор! Напротив, тут их слабость вырисовывается. Ну что же это за воздействие, если оно ограничивается грубой силой, чисто материальными пустяками? Большого-то и нет у них ничего в запасе! Пугать или устрашать

житейскими невзгодами в мелочах или даже хотя бы убийством можно только трусов. Ну а если люди не боятся такой ерунды, как материальные лишения или даже смерть, то масоны бессильны. Ну, как же это не доказывает их слабости? Смеху подобно, право! Ну, твой портной или седельник, конечно, непременно участвуют в какой-нибудь масонской ложе, потому что им лестно быть в одном обществе с титулованными и высокопоставленными, ну, им объявили, что ты — враг братства, и они стали делать тебе всякие неприятности, а высокопоставленные масоны перестали приглашать тебя.

— Все-таки это неприятно.

— Вздор! Все эти неприятности выеденного яйца не стоят. Нет, брат, Платон Зубов приготавливал нам сюрприз посерьезнее.

Проворов опять весело махнул рукой и сказал:

— Все равно! Что бы ни случилось, я теперь готов все перенести, лишь бы заслужить свое счастье.

— Это ты опять про свои любовные эмпири?

— Да, опять. Называй как хочешь, но с сего дня я верю в свое счастье и верю, что я и «она» встретимся в жизни для того, чтобы соединиться навеки.

— Но ведь ты даже не знаешь, как ее зовут и кто она: может быть, это — какая-нибудь принцесса.

— Все равно!.. Или нет, не все равно. Это ты хорошо сказал. Я теперь буду мысленно называть ее не иначе как принцессой. Моя принцесса! Пусть она будет принцессой — я буду достоин ее. Я стану достойным ее, чего бы мне это ни стоило. И мне теперь ни масоны, ни Зубовы не страшны. Пусть они делают со мной что хотят!

Проворов говорил, и глаза его горели и щеки покраснелись. Чигиринский смотрел на него с удовольствием.

— Молодец, Сергей!.. Люблю. Ловко, брат, молодцом! Так ничего не боишься?

— Ничего.

— Так собирайся в действующую армию!

V

— То есть как это — в действующую армию? — переспросил Проворов.

— Да так, — пояснил Чигиринский, — в действующую армию против турок: сражайся с неверными. Этот сюрпризик приготовил нам Зубов, как бывший добрый товарищ. Мы назначены в действующую армию.

— И это-то есть та неприятность, которую ты привез из Царского?

— Да, эту весть я привез из Царского Села и ручаюсь тебе за ее достоверность. Но только я не говорил, что это — неприятность: напротив, я только что объяснял тебе, что все относительно и зависит от того, как смотреть на вещи. Конечно, для нас с тобою, полагаю, оно иначе: если мы — военные, то наше дело — воевать.

— Ну еще бы! — подхватил Проворов. — Конечно, кроме воодушевления, во мне ничего иного не может вызвать известие, что нас посылают на войну. Что же, кроме нас еще отправляются гвардейские офицеры?

— Нет, господин Зубов позаботился только о нас двоих.

— Тем лучше: значит, мы как бы выделены, отличены...

— Правильно! Так ты, я вижу, несколько

не огорчен, а, напротив, рад?

— Ну еще бы!

— Ну вот я и рад, что не ошибся в тебе. Видишь ли, что касается меня, то мне так надоела тут, в Петербурге, вся эта канитель, что я все равно — не пошли меня Зубов — сам попросился бы к туркам. Если другие воюют, чем мы хуже их? Наше дело там, где сражение идет, а не где танцуют, сплетничают да занимаются масонскими бреднями. Я рад, что и ты с охотой готов идти.

— Да еще бы не с охотой! — воскликнул Проворов. — Пойми, ведь это — единственный для меня выход; ведь это сразу прекращает все мои невзгоды, всю эту житейскую дрянь, всю мелочь. Подумай: помимо всего, что может ждать меня на войне: заслуги, подвиги, чины и положение, взятые в бою, честно заработанные, я сразу разделяюсь со всей путаницей в своих делах; одним взмахом все кончится — уехал на войну — и дело с концом! Да ведь все это так великолепно устраивается, что лучше и не надо.

Вдруг в самый разгар этой горячей, погнавшей слова одно за другим речи Проворов

оборвался и замолчал, несколько растерянно взглянув на приятеля.

— Что с тобой? — удивленно спросил тот.

— Нет, ничего. Я вдруг вспомнил, подумал о «ней»... Ведь если мне уехать... Нам когда нужно уехать?

— Дана всего неделя срока. А я думал, что мы отправимся еще раньше. Больше пяти дней нам нечего здесь валандаться.

— Вот видишь, всего пять дней, в пять дней я едва ли отыщу ее, свою принцессу. А мне так хотелось бы увидеть ее хоть одним глазком, хотя имя ее узнать.

— Да ведь ты вот во сне с ней видался, сам же рассказывал.

— Не шути, я тебе серьезно говорю, что мне хочется увидеть ее перед отъездом на войну... понимаешь?.. Хоть один только раз... Увидеть наяву, услышать ее голос. Ты не смей тут смеяться!

Про воров был в таком волнении, что с трудом произносил слова и чуть не задыхался. Чигиринскому стало жаль его, и он сказал:

— Послушай, у меня есть средство...

— Какое средство? Что ты говоришь? —

взволновался еще больше Проворов. — Ты придумал что-нибудь для того, чтобы узнать, кто она? У тебя явилась нить, ты догадываешься?

— Постой, погоди! У меня просто есть средство, действующее замечательно успокоительно, вот и все... лепешки такие. Мне дал их какой-то доктор. Я думал, шарлатанство, ан, оказалось, и вправду очень действенные.

— Какие там еще лепешки? недовольно возразил

Проворов. — Никаких мне успокоительных лепешек не надо, потому что я совершенно спокоен, и все это — вздор!

— Ну, хорошо — пусть вздор, а все-таки попробуй съесть лепешку. Не беспокойся: не отравлю, и ничего тебе не сделается от этого, — и Чигиринский протянул товарищу фарфоровую коробочку в виде табакерки, наполненную маленькими кругленькими бурозелеными лепешками.

Проворов взял одну, машинально положил в рот и сейчас же ощутил вяжущий вкус быстро тающего снадобья.

— Что это такое? — спросил он.

Но не успел Чигиринский ответить, как глаза его товарища стали неудержимо слиться. Проворов перестал понимать, что происходит вокруг, и скоро почувствовал, как весь он погружается в томную истому, словно его охватывает взбитая мыльная пена и действительность окутывается туманной дымкой движущихся волн, клубившихся и входящих, вливающих одна в другую и одна из другой исходящих. Мало-помалу эти волны приобрели золотистый оттенок и стали движущимися блестящими нитями, быстро-быстро переплетающимися, беззвучно и бесконечно. Потом все залилось мягким, чарующим светом, и в нем появилась снова его принцесса, такая же прекрасная, как наяву и как в видении. На этот раз видение было гораздо яснее: почти совсем как живая была она перед Сергеем Александровичем.

И он услышал ее голос или, вернее, ему казалось, что он слышит ее голос. Она сказала ему, что если он хочет видеть ее, то пусть придет сегодня на маскарадный вечер, одевшись белым паяцем Пьеро, к Елагину, который сегодня устраивает праздник в своем

дворце на острове. Она там будет и найдет его.

Все это она произнесла отчетливо ясно, и Проворов слышал и видел, но сам не мог произнести ничего и не мог ни двинуться, ни шелохнуться, как это бывает во сне, когда чувствуешь себя скованным по рукам и ногам.

Да ему и не хотелось ни говорить, ни двигаться из боязни нарушить очарование виденного им. Казалась, при малейшей неосторожности видение исчезнет.

И оно исчезло. Все покрылось тьмою, и Проворов погрузился в бессознание полного небытия.

VI

Проснулся Сергей Александрович свежий и бодрый, сидя в том же самом кресле, в котором оставил его Чигиринский. Он огляделся, и ему не нужно было усилия, чтобы все ясно вспомнилось. Он посмотрел на часы; по приблизительному расчету, сон его длился не более часа.

Первым делом Проворова было пойти и найти Чигиринского. Тот сидел в общей офицерской столовой и там в компании несколь-

ких товарищей уже распивал шипучее вино в честь предстоящего отъезда в действующую армию. Они обстоятельно обсуждали вопрос, какую по этому поводу сделать отвальную.

Сергей Александрович вовсе не был в настроении пить, но должен был взять налитый ему стакан и, чокнувшись со всеми, осушить его.

— Послушай, Чигиринский, мне надо сказать тебе два слова, — шепнул он товарищу.

Тот поморщился и отвел приятеля в дальний угол комнаты, к окну.

— Послушай, что это за лепешку дал ты мне? — спросил Проворов, как только они отошли достаточно далеко от стола, где сидели остальные.

— Право, не знаю! Какой-то наркотик или, по-русски, снотворное, а что именно, не знаю.

— Но это — дивная вещь... это — такой сон... Я опять видел ее.

— Ну и что ж? Доволен ты этим?

— Представь себе, она велела мне быть на маскараде у Елагина.

— Во сне?

— Да, во сне она мне сказала.

— Что за чепуха! Разве свидания когда-нибудь назначаются во сне?

— А между тем это так: она прямо так и сказала, чтобы я был сегодня на маскараде у Елагина.

— Да позволь, есть ли еще у него маскарад сегодня?.. Господа, — и Чигиринский обернулся к офицерам у стола, — сегодня разве есть маскарад у Елагина на острове?

— Конечно, — сейчас же отозвался молодой офицерик, — и билеты еще вчера присланы, они у меня. — Он достал из кармана пачку пригласительных билетов и, перебрав их, нашел два. — Вот один тебе, — сказал он Чигиринскому, — а другой — Проворову.

— И мне есть билет? — воскликнул тот, очутившись у стола.

Не было ничего удивительного, что Елагин в качестве заведующего театром, которого он считался директором, очень часто устраивавший у себя маскарады и всякие торжества, устраивал и сегодня маскарад в своем дворце на острове. Знать того времени жила широко, и всякие пиры и торжества давались то и дело. Не было ничего удивительного и в том,

что Проворов, не получавший в последнее время приглашений, получил на этот раз билет; но ему показалось это столь знаменательным, что наяву должно быть продолжение сверхъестественным.

— Я хочу быть непременно сегодня на маскараде у Елагина, — проговорил он.

— За чем же дело стало? — спросил молодой офицерик, передавший ему билет, — и поезжай, если хочешь.

— У меня нет подходящего костюма.

— Так возьми мой, — предложил Чигиринский, — у меня есть костюм белого паяца Пьеро, мне не хочется ехать, а костюм новешенький.

И костюм оказывался именно таким, какой был нужен. Положительно в этом было что-то похожее!

Проворов забыл все свои невзгоды и неприятности, забыл о своем предстоящем отъезде в действующую армию, который все-таки требовал приготовлений, и мог думать об одном лишь вечере. Он сейчас же потребовал от Чигиринского, чтобы тот немедленно показал ему костюм, и, когда костюм этот был

ему дан, примерял его раз пять и вертелся перед зеркалом, оглядывая себя и желая убедиться, хорошо ли сидит на нем одеяние паяца Пьеро.

Время тянулось необычайно медленно, но все-таки наступил час, когда можно было отправиться в маскарад без риска приехать туда слишком рано.

Однако Проворов явился к Елагину одним из первых. Было настолько тепло, что окна и двери на террасу стояли отворенными, и Сергей Александрович быстро обежал парадные, освещенные восковыми свечами комнаты дворца и сад, где зажигали иллюминацию разноцветных лампионов, из которых были сделаны красивые декорации, в особенности на плотках на воде, окружавшей остров. Проворов, конечно, ни на что не обращал внимания, сосредоточив все мысли на своей принцессе, на том, что он увидит ее, что сможет заговорить с нею, узнает, наконец, кто она, и это наступит скоро, сейчас, может быть, сию минуту.

Гости прибывали, толпа их, пестрая и шумная, заполняла дорожки сада, в зале гре-

мела музыка, и там, после официального полонеза, начались веселые оживленные танцы. Но «она» не являлась, и ожидания Проворова были напрасны.

Он тщательно вглядывался в окружавшие его маски, стараясь угадать, которая из них скрывает ту, кого он искал. Он не сомневался, что, встретиться лишь они, он угадает ее без ошибки, без колебания. Но толпа двигалась, костюмы мелькали мимо него, а принцессы не было.

Вдруг Проворов почувствовал, что под его руку просунулась чья-то рука, и неприятный знакомый голос сказал:

— Серж, наконец мы опять вместе!

Он оглянулся — розовая цветочница держала его под руку. Лицо ее скрывала маска, но шея была открыта, и Проворов сейчас же узнал ее большие руки. Это была опять фрейлина Малоземова.

«Позвольте, почему же вы узнали меня?» — хотел он спросить и тут только заметил, что держал маску в руке, не надевая ее. Он поспешил закрыться маской, но было уже поздно: фрейлина Малоземова прилипла к нему.

Первым движением Сергея Александровича было оттолкнуть ее, но на самом деле он не сделал этого: с женщиной он не мог быть грубым. Он шел, сам не зная, что делает, и не имея возможности даже сообразить, что нужно делать.

— Что же вы молчите? — томно прошептала Малоземова. — Разве вы не рады, что мы опять вместе? Впрочем, зачем говорить, когда так сильно чувствуешь?

«И с чего я вообразил, — думал между тем Проворов, — что и в самом деле можно назначить свидание во сне? Мало ли что может привидеться! Но ведь это не значит, что наяву должно быть продолжение сна. Я все время думал о ней и буду думать, вот и увидел ее во сне, и тут нет ничего странного. Не странно тоже, что мне почудилось, что она назначает мне свидание на маскараде у Елагина. Однако почему же на маскараде, о котором я и не думал, почему от Елагина прислан мне билет и что за странное совпадение относительно костюма? Впрочем, может быть, костюм — это простая случайность. Но надо быть сумасшедшим, чтобы ожидать, что я

встречу ее здесь... Конечно, вздор! Я и есть сумасшедший... что выдумал тоже!»

И Проворову самому стало смешно от несуразности, к которой привели его мечтания.

— Вам хорошо? — спросила в это время Малоземова. Но он не ответил ей. Перед ними на дорожке сада, по которой они шли, остановилась другая пара: французский пейзаж и Пьеретта.

И невозможное оказалось возможным.

VII

— Мой милый Пьеро, — сказал Сергею Александровичу незнакомец, одетый пейзажом, — не хочешь ли ты поменяться дамами? Право, моя Пьеретта больше подходит к твоему костюму, чем прелестная цветочница, с которой ты ходишь, а цветочница больше под пару пейзажу, каким являюсь я.

Кто был пейзаж, Проворов не знал, но относительно Пьеретты он не сомневался: «она»! Сердце его билось так сильно, что ошибиться он не мог.

Однако Малоземова, хотя и польщенная, что ее назвали «прелестной», крепко ухватилась за руку Проворова и стала возражать:

— Я не хочу отпускать моего Пьеро, я хочу остаться с моим Пьеро!

Но пейзаж оставил свою даму и так властно, спокойно и повелительно подставил свою руку цветочнице, что та повиновалась, а Пьеретта взяла под руку Проворова.

Сергей Александрович схватил ее и побежал вперед, в толпу. Ему хотелось унести на край света, и ему казалось, что сзади у него выросли крылья, и он летит на них, отделяется от земли и не чувствует самого себя, не ощущает своей тяжести.

— Скажите, ведь это — вы, это — вы? — обратился он к Пьеретте.

— Что за вопрос? — засмеялась она. — Ну, конечно, я — это я! Как же вы хотите, чтобы я была какой-нибудь другой?

— Нет, вы мне скажите... Ведь это вы — моя принцесса?

— А кто ваша принцесса?

— Не знаю.

— Так как же вы хотите, чтобы я знала это, если вы сами не знаете?

— Я ничего не знаю, знаю только, что с ума сойду, скажите, это я вас видел?

— Где?

— Во сне.

— Вы в самом деле с ума сошли: хотите, чтобы я знала, что вы видите во сне.

— Да нет, не во сне... там...

— Где это там?

— В Китайской деревне. Скажите мне, как вас зовут, кто вы.

— Вот странный разговор для маскарада. Согласитесь сами, что так в маскараде не разговаривают.

— Простите, но для меня жизнь или смерть.

— В моем имени? Да? Меня зовут Пьереттой.

— Ну да, это — ваш маскарадный костюм.

— Конечно. Только так я могу ответить в маскараде. А кто я на самом деле — уж это вы должны догадаться. Разве маска когда-нибудь скажет вам, кто она такая?

— Нет, прошу вас, не говорите со мной маскарадным обыкновенным языком! То, что случилось со мною сегодня, так необычно, что тут все условности должны быть оставлены.

— Что же с вами случилось?

— Необыкновенное, сверхъестественное!

— Неужели? Сегодня вы узнали, что должны ехать в действующую армию, и это показалось вам столь удивительным?

— Почему вы знаете, то есть откуда вам известно, что я еду на войну?

— Ну, это не так уж трудно: об этом все говорят, и во всем городе известно, что Платон Зубов устроил протекцию двум своим прежним товарищам — конногвардейцам — вам и Чигиринскому, и вас посылают к туркам. А сами вы как к этому относитесь?

— Сам я? Да, конечно, в восторге! Это — лучшее, что может для меня быть. Там я заслужу... и там стану достойным моей принцессы, то есть сделаю такое, что будет достойно ее!

— Это — та принцесса, которую вы видели во сне?

— Нет, не только во сне: я ее видел и наяву, в Китайской деревне. Скажите, вы бывали в Царском Селе, в Китайской деревне?

— Бывала. Там, я думаю, все бывали. В этом нет никакого чуда.

— Нет, вы там жили, то есть вы там живете теперь?

— Нет, никогда не жила и теперь не живу. «Неужели это — не она?» — мелькнуло у Проворова, и он почувствовал, как краска прилила к его щекам.

К счастью, они были закрыты маской. Выходило ужасно глупо, если он свои бессвязные слова обращал к случайно встреченной костюмированной Пьеретте.

— Знаете что, — произнес он, — приподнимите хоть краешек своей маски, дайте взглянуть хоть уголком глаза, мне надо удостовериться.

— Что за просьба! Разве с этим обращаются к маске? Если вы так будете обращаться со мной, я вас оставлю. — И она сделала движение, чтобы вынуть свою руку из-под его руки.

— Нет, — удержал ее Проворов, — простите еще раз; но, понимаете, я сегодня в забытьи, в каком-то особенном сне видел ту, которая для меня составляет весь смысл, всю радость жизни, ту, для которой я могу жить... она — тот мой идеал, который...

— И вы говорите, что всего только раз ви-

дели ее?

— Да.

— Она, значит, очень красива?

— О да, она хороша, как ангел! Но не только ее красота составляет главные ее качества, это — такая душа, такая, которая...

— Да как же вы могли узнать ее душу? Ведь вы видели ее всего один раз. Вы, значит, очень долго разговаривали с ней.

— Нет, я с ней даже и не разговаривал. Она только сказала мне несколько слов. Правда, эти слова были очень важны для меня, очень важны.

— Ну, так как же вы могли узнать ее душу?

— Ах, как вы не понимаете, что в оболочке такой красоты не может быть иной души! Это — ангел, сошедший на землю, понимаете, ангел!

Проворов говорил, а сам старался вслушаться в голос Пьеретты; похож ли он или нет на голос той, которая сказала ему несколько слов из раскрывшегося окна, и не мог никак вслушаться как следует. То ему казалось, что это — она, то его охватывало сомнение, и он испытывал чувство, близкое к

отчаянию.

— Ну а как же вы во сне-то ее видели? — спросила Пьеретта.

— Сам не знаю. Меня сегодня утром охватило забытье, и вдруг явилась она, лучезарная и ясная, и сказала, чтобы я приехал сегодня в маскарад к Елагину в костюме Пьеро. И вдруг тут вы, одетая Пьереттой... и нашли меня, и узнали...

— Почему же вы думаете, что я вас узнала?

— Но вы сами сказали, что меня, конногвардейца, посылают вместе с Чигиринским в действующую армию. Значит, вы узнали меня.

— Ваша правда. Только это было проще, чем вам кажется. Я ходила с одним из ваших товарищей, и он указал мне на вас, назвал вашу фамилию и сказал, что я могу интриговать вас тем, что знаю, что вы едете на войну. Костюм Пьеретты на мне совершенно случайно, и наша встреча не имеет никакого отношения к вашему сну. Это — просто маскарадная шутка.

— Для вас, может быть, шутка, но для меня это — вопрос жизни или смерти. Ведь если я

действительно встречусь с моей принцессой до своего отъезда и она даст мне хоть тень надежды в будущем, то я сделаю нечеловеческие усилия, чтобы быть достойным ее.

— А если вы уедете без надежды?

— А если мне придется убедиться, что все мои мечты и грезы были лишь игрою воображения, то я найду смерть в первом же сражении с врагом.

— Вы не сделаете этого!

— Нет, сделаю. Мне не остается ничего другого. У меня, кроме нее, нет ничего в жизни, и без нее не надо мне этой жизни. Я с радостью еду на войну, потому что если там отдам жизнь, то не даром по крайней мере.

Пьеретта близко склонилась к самому его уху и тихо сказала:

— Надейтесь! Проворов вздрогнул.

— Ради всего святого, если это — вы, дайте мне уверенность в том. Иначе я буду сомневаться и думать, что это — просто маскарадная интрига и что вы, совершенно чужая мне, воспользовались случайностью и посмеялись надо мною.

— Не сомневайтесь, — еще тише прогово-

рила Пьеретта и добавила вдруг совсем громко и весело, — ну а теперь до свидания! Слышите, я говорю вам «до свидания». — И она оставила его руку.

Сергей Александрович кинулся за ней с такой стремительностью, что она должна была отклониться в сторону, сказав:

— Тише, не растопчите розы, надо осторожнее обращаться с розами!

Это была та самая фраза, которую сказала из окна при прощании девушка в Китайской деревне. Теперь Пьеретта повторила ее слово в слово. Это была она. Сомнений не существовало.

Ровно через пять дней после этого Проворов вместе с Чигиринским уехал из Петербурга к месту их назначения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

В начале девяностых годов восемнадцатого столетия Россия была в союзе с Австрией, где царствовал Иосиф II, личный друг императрицы Екатерины II. Нам пришлось тогда вести войну со Швецией и Турцией при крайне неблагоприятном отношении Пруссии и весьма подозрительных на наш счет намерений Польши, бывшей тогда самостоятельным государством.

Пруссия, вдохновляемая честолюбивым министром Герцбергом, стремилась во что бы то ни стало играть роль вершительницы судеб Европы. Еще с самого начала турецкой войны 1788 года она задалась целью противодействовать усилению России и Австрии на счет Турции. Кроме того, король прусский Фридрих Вильгельм II хотел и сам извлечь тут выгоду, как и Фридрих II Великий в свое время воспользовался первой нашей турец-

кой войной для получения выгод для Пруссии, завладев тогда частью Польши.

В этих видах Пруссия заключила в январе 1790 года союз с Оттоманскою Портою, которая, по предложению Герцберга, как «добрая союзница», должна была взять на себя, в сущности говоря, издержки по увеличению прусских владений. План Герцберга состоял в том, что Россия и Австрия должны получить земли от Турции, а за это Россия уступит Швеции часть Финляндии. Австрия отдаст Польше Галицию, а Польша, получив Галицию, предоставит Торн и Данциг Пруссии. Швеция же, получив от России Финляндию, отдаст Пруссии принадлежавшую ей тогда Померанию. Вознаграждение же Турции, по мнению Герцберга, тоже было огромно: четыре державы (Россия, Пруссия, Австрия и Англия) ручались на вечные времена за целостность остальных ее владений.

Россия к этому времени заключила торговый договор с Францией, и это сближение между Россией и Францией тоже сильно беспокоило Пруссию. Тогда впервые стали раздаваться крики о том, что, мол, необходимо

«равновесие» в Европе, которое стремится нарушить Россия. Это слово «равновесие» было пущено прусской дипломатией.

Происки Пруссии заставили Данию, союзницу России, отказаться от помощи последней против Швеции. В Константинополе же всякими посулами и обещаниями прусские агенты возбуждали султана к продолжению войны с Россией. Австрия не согласилась на предложение Пруссии, а Екатерина отвергла даже посредничество Пруссии и велела сказать в Берлине, что заключит мир с Портою самостоятельно, когда найдет это нужным, и на условиях, которые сама укажет туркам.

Для поддержания в случае чего притязаний Герцберга прусские вооруженные силы были распределены следующим образом: один сорокатысячный корпус был направлен к восточной границе королевства для вторжения в Лифляндию, а другой, тоже сорокатысячный, двинулся в Силезию, к границам Галиции, в виде угрозы владениям Австрии. Кроме того, имелась резервная армия в сто тысяч человек для подкрепления, сообразно обстоятельствам, обоих этих корпусов.

В Польше не подозревали о своекорыстных соображениях пруссаков. Стараниями посланника Бухгольца там образовалась прусская партия, мечтавшая о великодержавной роли для Польши. Полякам сулили Белоруссию и Киев, и Польша, отвергнув предложенный ей Россией союз заключила союзный договор с Пруссией. Это было особенно важно для России, потому что Польша находилась в тылу русской армии, действовавшей против турок на Дунае.

Австрия была озабочена восстанием в австрийских Нидерландах и волнениями в Венгрии. Действия же ее против турков были неудачны. Пользуясь этим, Пруссия старалась сеять раздор между союзниками, то есть Австрией и Россией.

— Что взяли, отставши от нас и соединившись с Австрией? — говорили в Берлине русскому посланнику Нессельроде. — Если бы были с нами, то получили бы все. И теперь, если будете с нами, то все получите.

В другой раз Герцберг говорил:

— Если бы положились на нас, то Крым и Очаков были бы ваши.

Екатерина на донесения Нессельроде об этом ответила на полях: «Зазнались совершенно».

Потемкину она написала:

«Каковы цесарцы (то есть австрийцы) ни были бы и какова ни есть от них тягость, но она будет несравненно менее всегда, нежели прусская, которая сопряжена со всем тем, что в свете может быть придумано поносным и несносным. Мы пруссаков ласкаем, но каково на сердце терпеть их грубости и ругательством наполненные слова и дела!»

В одной тогдашней записке императрицы находятся строки:

«Молю Всевышнего, да отмстит пруссаку гордость. В 1762 году я его дядюшке возвратила Пруссию и часть Нормандии, что не исчезнет в моей памяти. Не забуду и то, что двух наших союзников он же привел в недействие, что со врагами нашими заключил союз, что шведам давал денег и что с нами имел грубые и неприлично повелительные переписки. Будет на нашу улицу праздник авось либо».

Союзник Екатерины, Иосиф II, скончался 9 февраля 1790 года. Государыня считала это со-

бытие тяжелым ударом для себя. Леопольд II, брат Иосифа и его преемник на австрийском престоле, не разделял чувство своего предшественника к России, и с его воцарением нам приходилось надеяться исключительно на свои силы. Опасность со стороны Пруссии и Польши заставила Россию держать против турок лишь самое необходимое количество войск, а большую часть их иметь наготове против нового, более серьезного врага. Против Польши и Пруссии было выставлено нами тридцать шесть тысяч, составлявших так называемый «кор д'арме», или главный корпус, под начальством князя Репнина. Против же турок действовало всего два корпуса: один — под начальством графа Суворова Рымникского (около двенадцати тысяч человек) и другой — Меллер-Закомельского, в девять тысяч. Всеми силами командовал генерал-фельдмаршал князь Потемкин Таврический.

Побуждаемая Пруссией Порта напрягла все усилия для ведения войны. Султан Селим, его родственники и все знатные турки отдали свое серебро на чеканку монеты, все мужчи-

ны от двадцати— до тридцатилетнего возраста призывались под знамена.

План турок состоял в том, чтобы открыть наступление на Кавказ сорокатысячным корпусом трехбунчужного паши, сделать сильный десант в Крыму с помощью флота в сорок линейных кораблей, а на Дунае ограничиться оборонительными действиями. Для этого дунайские крепости Килия, Исакча, Тульча и Браилов были заняты сильными гарнизонами. В Измаиле же, самом укрепленном оплоте турок на Дунае, была сосредоточена целая армия в тридцать тысяч человек под начальством прославленного своею храбростью престарелого Мехмета-паши.

Килия, Исакча и Тульча сравнительно легко сдались нашим войскам. Не то было с Измаилом. Тут в конце ноября 1790 года собралось до двадцати пяти тысяч русских войск, считая в том числе их и иррегулярные.

Русские лагеря стали полукружием верстах в четырех от крепостных верков.

Измаильская крепость лежала на левом берегу килийского рукава Дуная, на склоне отлогой высоты, оканчивающейся у русла Ду-

ная низким, но довольно крутым скатом. Стратегическое значение Измаила было очень велико. Он был узлом многих сходящихся тут путей. В огромной важности Измаила турки убедились еще в первую войну с русскими (1774 г.). Прежде он был обнесен обыкновенною стеною, построенною еще генуэзцами, но с 1774 года турки сильно укрепили его под руководством европейских инженеров. Крепость заключала внутри своих верков такое пространство, которого было достаточно для помещения целой армии. Для сообщения Измаила с окрестностями служило четверо ворот: Царьградские, или Бросские, и Хотинские — на западной и Бендерские и Килийские — на северо-восточной сторонах города.

На предыдущие сдачи малых крепостей султан сильно разгневался и особым фирманом повелел в случае падения Измаила казнить из его гарнизона каждого, где бы он ни был найден впоследствии.

Дела русских под Измаилом шли весьма худо: наступило сырое и холодное время, а согреваться можно было только одним топли-

вом — камышом. В продовольствии чувствовался недостаток. Войска постоянно держались настороже из опасения вылазок и не раздевались на ночь. Появились болезни. Бездействие главных начальников производило расслабляющее влияние на людей. Вели только слабую бомбардировку с наивною надеждою, не сдастся ли от этого крепость. Посылали даже к Мехмету-паше с вопросом об этом, но тот отвечал, что не видит, чего бы ему бояться.

Надо было искать выхода. Собрали военный совет, и в решении его было выражено, что против сильной крепости с многочисленным гарнизоном и артиллерией у осаждающих не имеется осадной артиллерии, кроме орудий морской флотилии, а у полевой — всего один комплект снарядов. «По сим затруднениям, — говорилось в постановлении совета, — ежели не быть штурму, то по правилам воинским должно обложение переменить в блокаду, как гарнизон имеет лишь пропитание на полтора месяца; токмо чтоб потребные части войск, на то определяемые, достаточный провиант, как и довольно дров на ка-

ши и обогрение, с прочими для стояния необходимыми выгодами имели». Это значило просто отойти от крепости и ограничиться наблюдением за нею.

II

Проворов и Чигиринский были под Измаилом в составе Воронежского гусарского полка. Путешествие почти через всю Россию к действующей армии, а затем совместная походная жизнь и общие опасности еще более сблизили их друг с другом.

Проворов настолько хорошо знал приятеля, что уже по чисто внешним признакам, по одному взгляду на него мог распознать, в каком настроении тот находится. Поэтому, когда Чигиринский вошел в землянку и повел плечами, не глядя в сторону Проворова, тот сразу увидел, что Ванька не в духе.

— Это ни на что не похоже! — заговорил Чигиринский. — Представь себе, на военном совете постановили отступить, не пытаюсь штурмовать Измаил.

Проворов быстро спустил ноги с соломенной койки, на которой лежал, и воскликнул:

— Да не может быть!

— Вот тебе и «не может быть»! Решили, голубчик, — и все тут.

— Не может быть! — повторил Сергей Александрович. — Я слышал, что все войска под Измаилом подчинены уже графу Суворову Рымникскому и что ему послано в Галац приказание прибыть к Измаилу для принятия начальства над осаждающими корпусами.

— Кто тебе это сказал?

— Адъютант генерала Мекноба. Он получил это известие от верного человека из Бендер.

В Бендерах находилась главная квартира командовавшего всеми нашими силами князя Потемкина и оттуда шли все распоряжения, а вместе с тем и все слухи, которые рождались, повторялись и обсуждались на все лады. Всегда так выходило, что, прежде чем явиться официально приказу, ему предшествовала изустная молва, более или менее верно характеризовавшая событие.

Назначение Суворова, уже покрывшего себя военною славою, под Измаил в качестве главного начальника, конечно, было бы ра-

достной вестью для осаждающих, если бы оно действительно случилось.

Чигиринский наморщил лоб, подумал и, покачав головой, произнес:

— Нет, едва ли это верно! Будь Суворов назначен к нам, без него не решились бы собрать здесь военный совет и решить отступление! Подождали бы его.

— Между тем в Бендерах говорят об этом вполне положительно, — возразил Проворов.

— Знаешь, это настолько интересно, что стоит разузнать поподробнее. Надо съездить на флотилию Рибаса. Там должны знать.

— Отлично, поедем вместе.

— Мне недосуг. Надо сдать отчетность по эскадрону. Провались она!

Чигиринский командовал эскадроном, и письменная отчетность, как он выражался, «заедала его с корнем».

— Ну хорошо, я один съезжу, — согласился Проворов. Его и самого интересовали дальнейшие наши действия, то есть уйдем мы из-под Измаила, ничего не сделав, или и впрямь назначен Суворов, и тогда под его начальством нам можно будет показать себя.

Сергей Александрович отправился верхом кружным путем к Дунаю, обтекавшему Измаил с южной стороны. Здесь, замыкая обложение крепости, стояла флотилия наших кораблей под начальством генерал-майора Рибаса, сподвижника и ярого поклонника Суворова. Рибас непосредственно сносился со стоявшим у Галаца Суворовым, и потому в его штабе могло быть известно все, что касалось героя Рымника. К флотилии Рибаса примыкали верные черноморские казаки на своих «дубах», и наша кавалерия имела с ними частые сношения. Кроме того, у Проворова завязалось уже знакомство и на самих кораблях.

Сделав круг, чтобы обогнуть Измаил, Сергей Александрович скоро добрался до черноморских казаков, оставил у них лошадь и на лодке переправился на знакомый корабль.

Здесь о назначении Суворова ничего не знали и считали этот слух вымышленным. Наоборот, уже было официально известно о решении военного совета отступить от Измаила, и Рибас уже отдал приказ по флотилии идти завтра к Галацу. Остальные войска с завтрашнего дня тоже должны были начать пе-

редвижения, удаляясь от стен Измаила.

Все это было неутешительно, и Проворов в подавленном настроении стал тянуть крепкий ром, которым угостили его моряки.

Когда он стал собираться назад к себе, на северную сторону, его начали уговаривать остаться, что, мол, куда он поедет на ночь глядя и что ему лучше переночевать на корабле, где все-таки в тысячу раз удобнее, чем в землянке, а завтра чуть свет отправиться на северную сторону.

— Да и с дороги теперь, того и гляди, собьетесь, — сказал знакомый Проворову офицер. — А кстати, я стою сегодня на вахте и моя койка свободна. Прилягте у меня.

Предложение было соблазнительно, и Проворов поддался уговорам.

Очутившись в теплой и очень уютной каютке и растянувшись на мягкой койке, Сергей Александрович почувствовал такое блаженное состояние, что ему жаль было спать. Мысли у него закружились и поплыли куда-то в сторону, и он, не имея возможности сосредоточиться, ощутил чувство, точно плавает в воздухе, как бы качаясь из стороны в

сторону. На самом деле корабль слегка покачивало разведенной ветром волной, и на сухопутного человека это производило впечатление.

В соседнюю каюту вошли и стали разговаривать, причем каждое слово доносилось до Проворова вполне ясно.

— Здесь мы можем говорить свободно, — сказал один голос, показавшийся Сергею Александровичу знакомым, — нас никто не услышит.

— О да, вполне, — ответил другой.

— А рядом в каюте никого нет?

— Никого, ее хозяин стоит на вахте, и, по всей вероятности, она заперта.

«Надо бы дать им знать, что я тут и слышу все их разговоры! — пришло в голову Сергею Александровичу. — Кашлянуть, что ли?»

Но в это время незнакомый голос таинственно произнес:

— Я должен сообщить вам о гусарском офицере Воронежского полка, некоем Чигиринском.

«Нет, дудки, — решил Проворов, — если речь идет у них о Чигиринском, — это стано-

вится любопытным, и я буду слушать».

— Это — тот, который переведен из гвардии вместе с другим, Проворовым, кажется?

«Где я слышал этот голос? » — соображал между тем Сергей Александрович.

— Да, — подтвердил другой. — Проворов не представляет собою ничего замечательного. Зато Чигиринский — совсем другое, — продолжал голос, — это — замечательно хитрый и умный человек.

— Просто-напросто легкомысленный кутила, и больше ничего.

— Он лишь прикидывается таким, чтобы лучше скрыть свои действия, а на самом деле под личиной его легкомыслия скрывается один из самых серьезных противников братства вольных каменщиков.

— Может ли это быть? Простой прокутившийся гусарский офицер — и вдруг один «из серьезных врагов братства»? Позволю себе думать, что с такими ничтожными людьми братству и считаться нечего.

— Вы не знаете России и русских, доктор, я вам говорю, что Чигиринский только прикидывается простаком, а на самом деле он опас-

нее, чем кто-либо.

«Да это — доктор Герман, — сообразил Проворов, — ну, конечно, он».

— Чем же он может быть так опасен братству? Когда я приехал в Россию, мне никакого предостережения относительно него дано не было, — проговорил доктор Герман.

В том, что это был именно он, Проворов уже не сомневался.

— Чем он опасен? — повторил другой голос. — Оказывается, что документы, которые вы привезли из Франции русским братьям и передали в великую ложу Астреи...

— Ведь эти документы пропали.

— Вот именно, они пропали из тайного хранилища великой русской ложи совершенно непостижимым способом. Как они исчезли, мы не могли узнать, а между тем важность этих документов вам, конечно, известна.

— Ну еще бы! Там все, относящееся к участию масонов во Французской революции, установлены все их действия в этом отношении.

— И кроме того, весь разработанный план

действий масонов в России на многие годы вперед, то есть тщательно разработанный проект того, что делать масонам в России, чтобы в конце концов, не считаясь с отдаленностью будущего достижения цели, привести и Россию тоже к революции и через нее добиться полного утверждения и влияния масонства. Ведь это очень серьезно. Ведь если эти бумаги попадут в руки императрицы, то песня масонов навсегда спета в России.

— А вы уверены, что документы уже не в руках императрицы Екатерины? Последние гонения на масонство заставляют предполагать возможность этого.

— Нет, документы, эти важные для нас документы, находятся сейчас в руках гусара Чигиринского.

— Так вот, значит, чем он опасен? — воскликнул доктор Герман.

— Теперь вы сами видите!

— Но Чигиринский знает о значении этих документов?

— Очевидно, потому что он бережет их сверток как зеницу ока, всегда носит их при себе и никогда не расстаётся с ними.

— Но как же они могли попасть к нему?

— Это непостижимо. Никто не знает как, но факт, что они у него. Это установлено наблюдением. Трехцветный пакет с документами, который вы привезли из Франции и который пропал в ложе Астреи, находится у Чигиринского. Его видели наши братья.

— Странно что-то. Если Чигиринский знает, какие у него документы, то отчего же он не представил их куда следует, а возит с собою? Проще было бы давным-давно передать их государыне.

— Очевидно, он не имел на это времени. Ведь для того, чтобы передать что-либо государыне, нужны время и случай, а это не так-то легко. Чигиринский слишком поспешно был отправлен в действующую армию. Документы, как уже установлено расследованием, пропали как раз накануне его отъезда из Петербурга на юг. Значит, он не имел времени распорядиться с ними иначе, как только взять их с собою, и теперь возит их всегда при себе.

— Ну что ж, если документы у Чигиринского, тогда это с полгоря: надо взять их у

него, чего бы это ни стоило, хотя бы ему пришлось заплатить за это жизнью. Но откуда мог взять кутила-гусар такую важную вещь?

— Повторяю вам, этого никто не знает. Даже нельзя найти более или менее правдоподобную догадку относительно этого.

— Значит, участь Чигиринского решена. Документы должны быть отображены у него, у живого или мертвого.

— Опасаюсь, что живым он не дастся. Придется прибегнуть к крайнему средству.

— Только помните, что лишение человека жизни должно применяться нами лишь в самом крайнем случае, если без этого нельзя обойтись.

— Ну, я думаю, что тут более, чем крайний случай. Итак, вы уполномочиваете нас действовать согласно обстоятельствам? Мы не могли ничего предпринять без вашего разрешения, раз вы нам указаны как старший.

— Само собой разумеется, что без меня вы не вправе были брать на себя такое важное решение. Ведь, как хотите, дело идет о лишении человека жизни!

— Разве нам впервой? И потом, знаете,

там, где война и где люди умирают десятками и сотнями, — одним офицером больше или меньше...

«Ну, попадись только ты мне!» — подумал Проворов, не проронив ни одного слова из слышанного разговора масонов.

Сначала он думал выскочить из каюты и немедленно расправиться с доктором Германом и его собеседником, но сейчас же одумался, поняв, что, во-первых, такая расправа на корабле, где он пользовался гостеприимством, совершенно неуместна, а во-вторых, не было никаких данных, что он сможет справиться один против двоих. Не лучше ли поэтому было просто поспешить к Чигиринскому, предупредить его об опасности и вместе с ним обдумать, как действовать дальше?

Проворов выждал, пока доктор Герман и его собеседник, окончив разговор, ушли из соседней каюты, и, притворив дверь, на цыпочках пробрался к вахтенному мостику, где дежурил офицер, в каюте которого он остался было спать, и сказал ему, что лучше поедет к себе, потому что у него сердце не на месте, так как он не знает, что делается там, на се-

верной стороне, и нет ли неприятельской вылазки.

Офицер стал успокаивать Проворова, что на противоположной стороне крепости все тихо, но Сергей Александрович все-таки отбоярился от него и, получив лодку, переправился на берег. Там он нашел у казаков свою лошадь и поскакал во весь дух к расположению полка. Все время в пути он покачивал головою и мысленно произносил про себя: «А каков Чигиринский!»

III

Светало. Проворов ходил по крошечному пространству землянки в таком волнении и беспокойстве, какое ему никогда еще не приходилось испытывать. Он уже давно вернулся с той стороны Измаила, с Дуная, и думал, что найдет Чигиринского или спящим, или занятым писанием отчетов, чтобы кончить их к определенному сроку. Но Ваньки не было. Вестовой, подававший Чигиринскому лошадь, доложил Проворову, что тот уехал вскоре после него, а куда — неизвестно.

Сергей Александрович терялся в предположениях, и ему уже казалось, что его приятель

вовсе не вернется, что злоумышление, о котором он случайно узнал из разговора на корабле, уже совершено и Чигиринского нет в живых, а важные для масонов документы уже в их руках.

Наконец, когда уже совсем рассвело, у землянки послышался топот лошадиных копыт, и Проворов, высунувшись из двери, увидел Чигиринского, соскакивающего с седла, и воскликнул:

— Наконец-то ты! Я тут тебя жду не дождусь, просто вымотался весь... С тобой, брат, ничего не случилось?

Чигиринский вошел в землянку, тщательно запер дверь и пристально взглянул на Проворова при свете глиняной лампы с плавающим в зеленом масле фитилем. Он был очень серьезен и бледен.

— А я думал, что ты останешься ночевать на корабле, — вместо ответа сказал он приятелю.

— Я было хотел, но, представь себе, что я узнал! — И Сергей Александрович, торопясь, несвязно и поспешно рассказал все, что произошло с ним. — Ты можешь себе предста-

вить, что было со мною, когда я приехал сюда и не застал тебя. Всю остальную ночь до самого рассвета напролет я не спал — все тебя ждал.

— Что ж, ты думаешь, что господа масоны так уж быстры в своих действиях: сейчас решили покончить со мною и сейчас же привели это в исполнение? — усмехнулся Чигиринский. — Авось поживем еще!

— Да я ничего определенного не думал, но все это так странно и неожиданно. Ты — и вдруг масонские интриги! И откуда ты взял эти документы, как они к тебе попали и отчего я ничего не знал об этом?

— А ты уверен, что эти документы действительно у меня?

— Да как же, если они говорят?

— Мало ли что могут говорить масоны? Известно, они — фантасты.

— Но ведь они говорили, что путем «наблюдения» за тобой они установили, что документы у тебя. Ведь это значит, что за нами наблюдают, что мы и шага не можем сделать без их глаза.

— Это ты рассуждаешь правильно. Но, раз

мы так или иначе соприкоснулись с масонами, нет ничего удивительного, что они не оставляют нас своими милостями. Ведь и тебя они старались допечь в Петербурге, но у них ничего не вышло из этого, а, наоборот, обстоятельства сложились в твою же пользу. По крайней мере, ты не жалеешь, что попал на настоящее дело, то есть в действующую армию?

— Конечно, не жалею и очень рад походной жизни, хотя...

Чигиринский нахмурился.

— Хотя — что? — переспросил он.

— Хотя потерял надежду видеть ее, мою принцессу.

— А-а, ты не забыл еще о ней?

— Да ты с ума сошел, Чигиринский! Разве я могу забыть о ней? Разве можно забыть о ней? Мне — и вдруг забыть о ней! Да это значило бы расстаться с жизнью!

— А я, признаюсь, полагал, что увлечение ею прошло, что ты и не думаешь о своей принцессе. Ведь ты ни разу с самого нашего отъезда из Петербурга не заговорил о ней со мною.

— Да что ж заговаривать? Во-первых, ты всегда относишься к подобным разговорам с насмешкой, а это мне очень неприятно, а во-вторых, уж очень тяжело берeditь тяжесть разлуки.

— А во сне, как тогда, ты ее не видишь?

— Нет, как тогда, я ее не видал ни разу, то есть так отчетливо; но зато она просто снится мне часто, и это вознаграждает меня за всю тоску по ней.

— Странный ты человек, Сережка! Влюбился в какое-то сонное видение.

— Как — сонное видение? Я ее видел не только во сне, но и наяву. Прежде всего в Китайской деревне.

— А ты можешь поручиться, что это тоже не был сон?

— А маскарад у Елагина?

— Еще более вероятности, что и маскарад был только продолжением сна, в котором ты видел ее.

— Ну нет, брат! А впрочем, может быть, и вся наша жизнь — сон, от которого мы просыпаемся после смерти.

— И никакого воспоминания о котором у

нас не останется.

— Нет, на это я не согласен. Я буду помнить о своей принцессе всегда, сколько раз и где я бы ни просыпался.

— И ты надеешься когда-нибудь встретиться с ней? Да? Ну а если эта надежда не сбудется?

— Ну что ж! Я буду доволен тем, что у меня была эта надежда, и скажу, что полное счастье в человеческой жизни невозможно.

— А встреча с нею разве была бы полным счастьем?

— Ну еще бы! И знаешь, я все-таки жду этой встречи.

— Почему?

— Она мне сама сказала на маскараде у Елагина: последним ее словом было «надейтесь».

— Она это сказала тебе? Но разве ты уверен, что под костюмом Пьеретты была именно она?

— О да! Без всякого сомнения!

— Вот как! Даже без всякого сомнения! Но почему ты так уверен?

— Опять-таки она сама мне оказала себя.

— То есть как это — «оказала»? Назвала себя, что ли?

— Нет, но она сказала мне фразу, которую знали только она и я.

— Вот как! Между вами, значит, уже завелись секреты, известные только вам одним?

— Ну, не совсем секреты, а так...

— Не ожидал я, чтобы ты так, от нескольких встреч и от сонного видения, впечатлился. Ведь это, брат, пахнет тем, что будто ты, друг мой милый, свихнулся. Видал я много вашей братии, пострадавшей от этой самой любовной канители, но такого, как ты, право, не видал.

— Ну вот, ты опять смеяться начинаешь! Поговорим в таком случае лучше о тебе.

IV

— Да что обо мне разговаривать, — сказал Чигиринский, поправляя фитиль в лампе, — разве эта тема интересна? Дело не во мне...

— Как — не в тебе? — воскликнул Проворов. — Позволь! Разве даром я мучился всю ночь? Разве тебе не предстоит необходимость беречься сколь возможно? Ведь я же своими ушами слышал, что собираются убить тебя.

Наконец, если у тебя есть документы против масонов, их надо сохранить.

— Зачем?

— Как — зачем? Чтобы передать их в руки правительству, чтобы они не пропали... Надо, чтобы козни масонов были открыты.

— Это — твое мнение?

— Не только мнение, но и глубокое убеждение.

— Так что, если бы со мной что-нибудь случилось, ты взялся бы сохранить эти документы и доставить куда следует?

Проворов задумался на мгновение, а затем серьезно ответил:

— Да, взялся бы.

— Хорошо! Значит, я могу рассчитывать на тебя?

— Постой, но ведь с тобой не должно же ничего случиться, ведь можно принять меры. Прежде подумаем, как обезопасить тебя. Разве нельзя, например, сделать так, чтобы масоны уверились, что у тебя нет никаких документов, что это — просто сказки и что ты им ничем не опасен?

— План недурен как идея, но дело в том,

что вольные каменщики хитрее, чем ты думаешь, и не так-то легко обмануть их.

— Значит, ты в самом деле опасен им?

— Да.

— Эти документы действительно у тебя?

Откуда же ты достал их?

— Случайно. Они ко мне попали... Ну да не все ли тебе равно?.. Есть — и конец! Ты только помни, что обещал мне в случае чего доставить их по назначению.

В это время на дворе стояло уже совсем утро, денщик, взятый в качестве переводчика для сношений с местным населением из молдаван, принес горячий сбитень и кучку солдатских сухарей на деревянной тарелке.

— Вот кстати, — обрадовался Проворов, — после бессонной ночи славно выпить горячего и поглотить хоть сухарь. — И он протянул руку к чайнику, а другою взял с тарелки сухарь.

— Что ты делаешь? погоди! — остановил его Чигиринский и, выхватив у товарища сухарь, спрятал его в карман, а затем, захватив еще несколько сухарей, сказал Проворову: — Пойдем, посмотрим чистку лошадей.

— Дай хоть глоток выпить.

— Поспеешь... потом... иди!

Проворов сообразил, что Чигиринский, очевидно, имеет свои причины поступать так, и последовал за ним, хотя не понимал, зачем это было нужно.

Они вышли из землянки.

Лагерь просыпался, и военный день начался: привязанных к коновязям лошадей сводили уже на водопой и теперь чистили. Собаки, считающиеся у мусульман нечистыми животными и презираемые ими, прикармливались в нашем лагере солдатами, а то и так бродили, поедая всякие отбросы. Чигиринский кинул первой попавшейся собаке взятый им с собою сухарь. Она жадно набросилась на него, куснула раза два и проглотила, почти не разжевав, затем завизжала, завертелась, упала, вытянулась и издохла.

— Сильнодействующий яд! — сказал Чигиринский. — Я так и думал.

Проворов смотрел, разинув рот, и не верил своим глазам.

— И этот яд предназначался нам? — проговорил он.

— А то кому же еще? Господа масоны уже имели, значит, время принять свои меры.

— Но, послушай, ведь нам теперь ничего нельзя есть: ведь это становится серьезно.

— Да, более или менее серьезно, но все-таки сбитня мы напьемся.

— Приходится сказать, я и съел бы чего-нибудь с удовольствием.

— И съедим... Вот хотя бы у Сидоренко. Пойдем к нему в землянку! У него мы можем есть и пить в безопасности.

Сидоренко был командиром соседнего эскадрона, и у него тоже была землянка, хотя и не такая «роскошная», как у Чигиринского с товарищем.

Мысль пойти поесть к Сидоренко показалась Проворову гениальной.

В землянке у Сидоренко было столько народу, что для того, чтобы впустить новых гостей, пришлось двум офицерам выйти.

Угощение, стоявшее на столе, было из ряда вон выходящим. Тут были ветчина, хлеб, водка, сельдь, малороссийская колбаса, соленые огурцы. Всего этого давно уже не было под Измаилом, так как провизия давно иссякла и

приходилось пробавляться солдатскими сухарями.

Проголодавшийся Проворов не заставил повторять приглашение и немедленно принялся за еду, но Чигиринский потребовал объяснения.

— Сидоренко, откуда у тебя такое благополучие?

— Как — откуда? Первый маркитант уже прибыл.

— Какой маркитант?

— Как, да ты, верно, ничего не знаешь? Ведь Суворов назначен командующим всеми силами под Измаилом.

— Это и мы слышали, только едва ли это верно: ведь мы отступаем.

— Нет, брат, с Суворовым не отступают; уж где Суворов, там отступления быть не может.

— Да разве он здесь?

— Здесь. Сегодня ночью верхом прискакал один с казаком... прямо из-под Галаца. А утром оттуда явился первый маркитант с провизией. Я перехватил его раньше других — кушай на здоровье.

— Так Суворов с нами?

- С нами, брат, ура!
- Ура-а-а!
- И войска идут за ним.
- Значит, Измаил возьмем!
- Возьмем. Ура!

V

Суворов под Галацем получил предписание и собственноручное письмо от светлейшего, предоставлявшего ему полную свободу действий под Измаилом с подчинением ему всех находившихся там войск и генералов. Получив такое предписание, давшее ему неограниченные полномочия, Суворов, не медля ни минуты, отправил из-под Галаца из своего корпуса все, что можно было, войска и приказал своим маркитантам тотчас же отправиться под Измаил с провизией, а сам поспекал. Еще с дороги он прислал приказ о возвращении войск, уже начавших отступать.

Из числа войск, находившихся под Галацем, Суворов направил к Измаилу свой любимый, недавно им сформированный Фанагорийский гренадерский полк, двести казаков и охотников Апшеронского мушкетерского полка с тридцатью осадными лестницами и ты-

сячью фашин. Поручив команду над оставшимися полками под Галацем князю Голицыну, сам он поехал с конвоем из сорока казаков под Измаил, до которого от Галаца было около ста верст. Но вскоре нетерпеливый вождь оставил свой конвой и поскакал с удвоенною скоростью в сопровождении всего лишь одного казака.

В ночь на 2 декабря 1790 года Суворов появился под Измаилом, и войска сразу оживились, повеселели и почувствовали бодрость. По всему лагерю уже шло ликование, так как состоять под начальством Суворова было само по себе как бы боевым отличием.

В землянке Сидоренко шумно справляли праздник по случаю прибытия Суворова.

— Где ж вы пропадали, что ничего не знаете? — спрашивали у Чигиринского с Проворовым.

Но ни тот, ни другой, конечно, не объясняли, почему они сидели, забившись в свою землянку, и никого и ничего не видели. Наевшись и разделив общую радость и прокричав еще и еще раз «ура!», они оставили гостеприимную землянку, чтобы уступить в ней место

вновь прибывшим офицерам.

— Знаешь, о чем я все думаю? — сказал Проворов, как только они остались вдвоем, — ведь, значит, этот денщик-молдаванин отравил сухари... вот негодяй!

— Нет, — ответил Чигиринский, — я думаю, ты ошибаешься. Тут дело сложнее, и денщик не виноват. Он и сам не знал, что подают нам.

— Но во всяком случае это — дело масонских рук.

— И очень грубое, как, впрочем, и все, что они делают.

— Грубое или нет, а все-таки они действуют, и в достаточной степени поспешно. Что же мы будем делать, чтобы обезопасить себя?

— Да ничего. Будем жить, то есть постараемся быть живы. А главное, что теперь предстоит нам делать, это — брать вместе с Суворовым Измаил.

Так, разговаривая, они дошли до своей землянки. Первым отворил дверь в нее Проворов и, отшатнувшись, сейчас же захлопнул ее.

— Посмотри, — обернулся он к Чигирин-

скому, — я говорю тебе, что молдаванин — негодяй: он преспокойно растянулся на твоей койке и дрыхнет, точно нас уже нет на свете, и он тут — полный хозяин!

— Погоди, — стал было останавливать его Чигиринский, но Проворов не слушал и снова юркнул в землянку.

Войдя тоже туда, Чигиринский уже застал его за тем, что он безжалостно тряс за плечо лежавшего на койке денщика-молдаванина. Последний мотался в руках Проворова из стороны в сторону, не подавая признаков жизни.

— Да, кажется, он умер! — в ужасе воскликнул Сергей Александрович, не оставляя денщика.

— Вот видишь, — сказал Чигиринский, — я был прав, говоря, что бедняга не подозревал, что принес нам отравленное угощение. Видишь? — И он указал на зажатый в пальцах правой руки денщика сухарь.

— Он отравился и умер!

— Опять решение слишком скорое! — улыбнулся Чигиринский. — Пусти! — Он отстранил приятеля и, нагнувшись к молдаванину и положив ему на лоб руку, спросил ти-

хо и очень ласково: — Ты можешь отвечать мне?

Тут Проворов увидел нечто, как ему показалось, сверхъестественное: губы денщика зашевелились, и он, продолжая спать, ответил:

— Да!

— Ты не успел еще отведать сухарей и сбитня?

— Нет.

— Значит, мое приказание тебе заснуть было сделано вовремя.

— О да!

— Ты, значит, не знал, что сухари и сбитень отравлены?

— Нет.

— Но теперь ты видишь это?

— Да! — отвечал сонный.

— А ты можешь увидеть, кто отравил их?

— Нет.

— Постарайся!

На лице молдаванина выступило выражение усилия.

— Не могу, — произнес он.

— Смотри на сухари! Где они лежат?

— На тарелке.

— Кто их положил?

— Я.

— Они еще без яда?

— Да. Несу тарелку и чайник со сбитнем к вам. Меня встречает важный господин.

— А! Что он делает?

— Он спрашивает меня, как пройти к вам. Я ему говорю, что вот несу для вас сухари и сбитень и что он может идти за мной. Он видит, что у меня расстегнута пуговица, и говорит, что в лагерь приехал сам Суворов, что он очень строг, если он увидит мою расстегнутую пуговицу, то велит расстрелять меня, — он такой строгий и так стоит за дисциплину. Я не могу застегнуть пуговицу, у меня в руках чайник и тарелка с сухарями. Важный господин предлагает мне подержать чайник и сухари — он такой добрый и спасет меня от гнева Суворова, который ходит уже по лагерю. Я даю ему чайник и тарелку и отворачиваюсь, чтобы застегнуть пуговицу.

Лицо денщика вдруг выразило испуг, и он воскликнул:

— Аи, аи, господин, что вы делаете? Вы всыпаете яд в чайник и на сухари... Такой

важный господин и делаете так дурно... ах, как дурно!

— Ловко и находчиво было обделано! — проговорил Чигиринский и, снова обращаясь к денщику, спросил его: — Ты можешь сказать, кто этот важный господин?

— Нет.

— Ты его никогда не видел?

— Никогда.

— Посмотри поблизости от нас, его нет теперь в лагере?

— Нет.

— Смотри кругом, хорошенько... Подальше!

— Ах, вот я его вижу! Он идет сюда к вам. Ведь он уже приближается.

— Он на вид спокоен?

— Да.

— Скоро он тут будет?

— Сейчас. Вот он повернул к землянке... он у двери... он поднимает руку, чтобы стукнуть...

В дверь раздался осторожный стук.

Проворов невольно вздрогнул. Несмотря на слова сонного денщика, он не верил в возможность этого стука, и последний испугал

его.

— Кто там? — спросил Чигиринский.

— Чигиринский, это — вы? — спросили снаружи.

— Да, это — я. А кто спрашивает?

— Камер-юнкер Тротото.

VI

Чигиринский быстро отворил дверь землянки и очутился лицом к лицу с камер-юнкером Тротото.

— Ах, моя радость! — немедленно всплеснул руками тот. — Ну как я рад, что вижу вас в добром здравии! Вот поистине праздник для души! Ах, и вы, душа моя! — обернулся он в сторону Проворова. — Вы тоже тут? Ну как я рад!.. Вы, конечно, слышали, что лучший наш полководец Александр Васильевич Суворов принял начальство над войсками под Измаилом и уже прибыл сюда. Вот радость, не правда ли, радость моя?..

— Вы меня простите, Артур Эсперович, — произнес несколько строго Чигиринский, — но у нас тут мертвый.

— Что, — закричал Тротото, — где мертвый, какой мертвый? Вот этот бравый гусар,

лежащий на этой койке? — И он не без брезгливости показал на неподвижно лежащего и погруженного в оцепенение денщика-молдаванина.

— Да, вот этот гусар, — подтвердил Чигиринский.

— Убит?

— Нет, отравлен.

Камер-юнкера Тротото передернуло. Как он ни привык владеть собой, но, видимо, неожиданная решимость Чигиринского поразила его.

— Ах, моя радость! — проговорил он, отступив шаг назад. — Но почему же вы думаете, что он отравлен?

— Потому что я сделал опыт: бросил один сухарь собаке, и она моментально издохла, как только проглотила его.

Тротото вдруг преподленько хихикнул и уверенно протянул:

— Я думаю, это турки отравляют русские сухари. А это был ваш денщик?

— Да, это был мой денщик.

— Ну, тогда я не буду мешать вам. А знаете, раз вы остались теперь без прислуги, не при-

дете ли обедать к нам на бригантину: все будут очень рады. Приходите, у нас много иностранцев. Все жаждут боя. Приходите, радость моя! Рибас дал нам помещение на одной из бригантин, и у нас там прекрасно. Вы не пожалеете. Дайте слово, что придете, согласитесь! Лучше, чем питаться здесь отравленными турками сухарями, прийти пообедать на бригантину.

— О, благодарю вас, — горячо произнес Чигиринский, — мы непременно придем на бригантину сегодня же.

— Так до скорого свидания, моя радость... ждем! — И Тротото, послав воздушный поцелуй, затворил дверь.

— Что ты делаешь? Ведь он нас зовет обедать опять для того, чтобы отравить, а ты соглашаешься? — воскликнул Проворов.

— Конечно, никто из нас не пойдет к нему обедать. Надо же было как-нибудь отделаться от этого господина. Ну и шкура же у него! Ведь не поморщился, когда я сказал ему о яде!

— Все это так невероятно и неожиданно, что я просто глазам не верю, — пожал плечами Проворов.

— То ли еще бывает? Встань! — приказал Чигиринский сонному денщику.

Тот вскочил и остановился с открытыми, неморгающими глазами.

— Ты проснешься сейчас, — сказал ему Чигиринский, — и забудешь все, что произошло с тобой с тех пор, как ты понес нам сухари и сбитень. — И он дунул в лицо молдаванину.

Тот встряхнулся и как ни в чем не бывало продолжал стоять перед Чигиринским.

— Брось этот сухарь, он воняет чем-то, — приказал ему тот, — и ступай к себе!

Денщик немедленно бросил сухарь и пошел.

— Послушай, — сказал товарищу Проворов, — теперь объясни мне, что все это значит?

— То есть что именно? Объяснить, как попал камер-юнкер Тротото в масоны и стал отравителем, я не могу, но думаю, что это было не особенно сложно для такого человека, как этот Артур Эсперович.

— Нет, я спрашиваю про этот чудодейственный сон молдаванина. Ведь что ж это? Колдун ты, что ли?

— Нет, это кажется волшебством только не знающим, в чем дело, а между тем сила внушения, опыт, который ты видел только что, существует и действует так же просто, как и всякая другая сила. Впрочем, нет, не как всякая другая сила: внушением можно действовать на расстоянии, когда мы ушли отсюда, оставив здесь отравленный сбитень и сухари, я вспомнил, что и тем и другим может соблазниться денщик и, отведав, отравиться. Возвращаться в землянку все равно не имело смысла, потому что мы отошли настолько далеко, что поспеть вовремя было немислимо. Тогда мне пришло в голову испытать над молдаванином, поддастся ли он на расстоянии моему внушению. Я издали приказал ему заснуть в ту же минуту у меня на койке, и это оказалось вовремя, потому что бедняга как раз уже держал отравленный сухарь, чтобы съесть его. Он заснул и пробыл в состоянии особенного сна до нашего прихода.

— И так можешь заставить спать и слушаться тебя всякого, кого хочешь?

— Нет. Для этого надо, чтобы человек обладал известной впечатлительностью. Всех и

каждого я не могу заставить спать.

— Чудеса! Кто бы мог сказать, что ты, Ванька Чигиринский, и вдруг обладаешь такой чудодейственной силой.

— Да и никто не скажет этого, потому что никто, кроме тебя, не знает об этом, а ты, я уверен, сумеешь молчать.

— Я полагаю, что сумею, тем более что в этой силе наш выигрышный козырь. С ним масоны не страшны нам.

— Пожалуй, не страшны, только надо уметь обращаться — возни много!

— Ну что ж, повозимся. Где, например, мы сегодня будем обедать? Неловко снова идти к Сидоренко.

— Поедим солдатской каши из общего котла.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

С прибытием Суворова под Измаил закипела деятельность. Каждый час был на счету. Войска расположились полукружием верстах в двух от крепости; их фланги упирались в реку, где стояла флотилия, довершавшая обложение.

Несколько дней кряду производились рекогносцировки. Девятого декабря Суворов собрал военный совет, имея в виду воодушевить главных начальников.

Обсуждений и долгих разговоров не было. После нескольких слов о том, что отступление от Измаила будет равно нашему поражению и что нам нужно либо взять город, либо умереть, казак Платов, которому, как младшему в совете, приходилось первому подать голос, громко сказал: «Штурм!» — и все остальные присоединились к нему.

Суворов обнял Платова, а затем перецеловал всех остальных и заключил совет резолюцией:

«Сегодня молиться, завтра учиться, после-

завтра — победа либо славная смерть».

Участь Измаила была решена.

На другой день, 10 декабря, с восходом солнца началась подготовка штурма огнем фланговых батарей и судов флотилии.

Непрерывный грохот орудий с нашей и с турецкой сторон действовал на Проворова возбуждающе. Он не чувствовал ног под собою и летал с одного места на другое, готовя эскадрон к ожидавшемуся бою. Он справлялся о состоянии каждой солдатской лошади, осматривал амуницию, пробовал, остро ли отточены сабли, отдавал приказание за приказанием и объяснял солдатам, в чем будет заключаться задача их полка. Они должны были стоять вместе с остальной конницей в резерве за колонною генерала Мекноба, назначенной к штурму большого северного бастиона. Конница предназначалась для того, чтобы на случай вылазки неприятеля из крепости успеть отразить его.

Целый день Про воров был занят таким образом, Чигиринский же оставался в землянке и писал с утра до вечера. Чем он был занят и что писал, Проворов не знал, но только был

уверен, что это — не отчетность, так как слишком нелепо было заниматься отчетностью накануне решительного боя.

В ночь на одиннадцатое декабря Суворов ходил от одного бивачного огня к другому и, подходя, спрашивал, какой полк, припоминал минувшие бои, иных узнавал в лицо и называл по имени и всех хвалил, повторяя на разные лады:

— Славные люди, храбрые солдаты. Прежде они делали чудеса, сегодня превзойдут себя. Молодцы!

В этих словах не было ничего особенного, но они действовали магически, и та кучка людей, к которой подходил Суворов, как бы вырастала, становилась сильнее и получала непреодолимую уверенность в победе. Никто и не думал о том, что, в сущности, взятие Измаила при том гарнизоне, который в нем был, и при наличности тех сил, которыми располагали русские, совершенно немислимо, так как и по опыту, и по военной теории для овладения крепостью необходимо иметь значительное превосходство в людях, идущих на штурм: им нужно преодолеть не только

врага, но и укрепления, за которыми тот прячется. Под Измаилом же русских было гораздо меньше, чем сидевших за его валами турок. Сама же крепость была «без слабых мест», как доносил Суворов Потемкину.

Однако, несмотря на это, уверенность в том, что она будет взята, была непоколебима и увеличивалась с каждым словом, произнесенным Суворовым.

Проворов, сияющий, ворвался в землянку, где Чигиринский все еще писал, и, запыхавшись, проговорил:

— Ты знаешь, сейчас мы говорили с Суворовым.

— Кто это — «вы»?

— Солдаты и офицеры у костра. Мы сидели и грелись... ну, говорили про завтрашний день, разумеется. Понимаешь — велено проверить все карманные часы; штурм ровно в пять часов, пока еще темно, по третьей ракете, понимаешь? Теперь понятно, почему все эти дни перед рассветом пускали в лагере ракеты. Суворов, чтобы не встревожить турок сигнальными ракетами во время штурма, приучал их заранее, пуская ракеты ежеднев-

но.

— Как же ты с Суворовым разговаривал? — спросил Чигиринский.

— Да вот я ж тебе рассказываю. Сидим у костра... завтра штурм в пять часов... ну, обсуждаем. Говорим, что штурм надо бы еще подготовить, еще наддать жару туркам, понимаешь? Ну и вообще разговариваем... Мне надоело слушать, потому что, по-моему, все эти рассуждения зря всегда выходят. Я вскочил и говорю: «Все это — вздор, никаких рассуждений. Мы должны завтра стоять в резерве на случай вылазки неприятеля, и я буду стоять и ждать и желаю одного только, чтобы турки поскорее вылезли, а там, будь их хоть все полчища Магомета, мы ударим на них, сомнем и разобьем вдребезги — вот и все, только пух и перья полетят, чтоб им пусто было! » И только я сказал это, как вдруг сзади мне положили руки на плечи, и слышу я: «Помилуй Бог, хорошо! Молодец, офицер, славный офицер! » Обернулся, а это он сам стоит... Суворов... Я не узнал его, а почувствовал, что это — он. Он тут был как будто маленький, съезжившийся, но руки, пальцы — прямо железные. У меня

сердце так и забилося. Не могу тебе передать, что я тут почувствовал. А он уже повернулся и пошел дальше в темноту. И понимаешь, достаточно было только двух-трех его слов, и все ожили. Он только подошел...

— Нет, он не только подошел, он сделал больше, он внушил вам победу, внушил, что вы должны одержать эту победу, и... мы одержим.

— Значит, по-твоему, он тоже обладает силой внушения?

— Ну, разумеется! Без этой силы ни один полководец обойтись не может, и у Суворова она очень велика. То, что он делает сейчас вот, обходя лагерь от костра к костру и внушая людям победу, — половина успеха; другую половину выполняют его военный гений и русский солдат. Мы победим завтра!

— Победим, Ванька, и будем праздновать с тобою победу.

— Нет, Проворов, погоди, выслушай серьезно! Ты будешь завтра праздновать победу, но обо мне совсем другой разговор.

— Что это значит?

— Все может случиться.

— С тобой?

— Да! Если я завтра буду убит, то вот тебе мое распоряжение: в этой землянке, в углу, вот здесь, я сейчас зарюю вот эту жестянку. — Он показал на стоявшую перед ним на столе жестянку. — В ней будут лежать те документы, о которых ты знаешь. Понял?

— То есть ты хочешь сказать, что если тебя... что, если ты не вернешься, я должен откопать эти документы и доставить их куда следует?

— Совершенно верно! В случае моей смерти я тебе поручаю достать документы. Кроме того, в жестянке лежит тетрадка, которую я только что кончил писать. Это для тебя. Ты можешь прочесть ее и потом уничтожить, чтобы не оставлять лишних улик и вообще не распространять того, что не нужно знать другим.

II

Бивуачные огни остались на своих местах, и костры поддерживались, как будто в лагере ничего особенного не произошло, но на самом деле пехотные части и спешенные, вооруженные дротиками казаки поползли, со-

блюдая полную тишину, в глубокой темноте зимней безлунной ночи к укреплениям Измаила, чтобы приблизиться к нему и начать штурм внезапно для турок.

Проворов с эскадронам воронежских гусар под командой Чигиринского стал на место в резерве, сзади колонны генерала Мекноба, уже исчезнувшей в бесшумной темноте. Сергей Александрович вслушивался в окружающий его мрак, и ему казалось, что весь этот мрак шевелится, точно волны ходят кругом. Эскадрон держался смирно. Редко фыркнет лошадь да раздастся кашель.

А там, впереди, чувствуется, что движутся вперед, и берет жуть, доползут ли к сроку достаточно близко, или турки успеют распознать штурм и откроют огонь, чтобы не подпустить.

Время длится. Густой туман, как молоко, спустился на землю, и в его холодной сырости ожидание стало еще более неприятным.

И вдруг Проворову показалось, что все умерло, застыло и перестало действовать. Где Суворов, где Чигиринский, где Сидоренко — теперь ему было безразлично. Но он знал, что

она, принцесса, тут, с ним, что душа ее была с ним, а все остальное являлось тщетой и расплывалось в мягком тепле, сменявшем бывший до того времени холодок.

— А? Что? — громко произнес он, просыпаясь от вдруг поднявшегося шума, треска и грохота.

— Начали! Помоги Бог! — сказал Чигиринский, подъезжая. — Ну, Сережка, не посрадим земли русской!

Они пожали друг другу руки и поцеловались.

Проворов пропустил в дремоте сигнальную ракету и очнулся, когда, очевидно, в условленный час грянули орудия стоявшей по ту сторону Измаила на Дунае эскадры. Крепостные батареи стали отвечать.

Крепость кипела огнем и грохотала несмолкаемыми ударами грома, светящиеся снаряды бороздили небо, и клубы освещаемого вспышками дыма тухли и трескались, как бесформенные очертания легендарных чудовищ. Издали, справа, там, где была колонна генерала Ласси, направленная по диспозиции на русские ворота, раздалось «урра-а», и вслед

за ним началась трескотня ружей.

Крики перекатились ближе, и «наша», как мысленно называл ее Проворов, колонна, предводимая Мекнобом, ответила криком. Гусары не выдержали и тоже грянули «ура».

— Смирно! — скомандовал Проворов, а самому так и хотелось не только кричать вместе с солдатами, но кинуться в бой туда, где, как было издали видно, вспыхивало пламя, копошились люди у вала, облепляя его, точно муравьи.

Колонне Мекноба приходилось брать обшито камнем укрепление. Работа была трудная.

Сколько прошло времени, как начался этот ад, Проворов сообразить не мог. Ему казалось, что это было всегда и что так оно и будет, останется навсегда, то есть он будет постоянно слышать грохот и треск и видеть разрывающиеся молнии. Он невольно устремлял взор вперед и жадно впивался им в то, что происходило на валу. И наших, и турок можно было различать довольно ясно, хотя в общем все это представлялось в виде невообразимой каши. Сознательно, обдуманно, так

сказать, и умозаключительно нельзя было сказать, на чьей стороне успех, но чувствовалось всеми, что он будет наш, что мы возьмем его, взяв Измаил.

К Мекнобу потянулись пехотные резервы, видно было, как они перебежали (уже рассвело, и лучи солнца рассеяли туман).

— Наддай, голубчики, наддай! — тихо сто-
нал Проворов, издали следя за рядами, подвигавшимися к месту боя.

Несмотря на то что ему приходилось стоять на месте и сдерживать себя и своих людей в готовности кинуться в любую минуту, он был всем своим существом уже там, с этими вливавшимися в бой новыми рядами. Он видел и пережил вместе с ними то, как они подбежали, как кинулись врассыпную и с победным кликом смешались с массой, барахтавшейся на валу. Толчок свежего, подоспевшего как раз вовремя удара оказал решающее действие: на бастион влезли наши удальцы, турки были смяты, бастион был взят. Победному клику ворвавшихся победителей вторили следовавшие за ними.

К гусарам подскакала группа всадников.

Проворов сейчас же увидел впереди Суворова в всегдашнем канифасовом камзоле с зелеными китайчатыми лацканами, который он носил, несмотря на время года, без верхней одежды, только в случае очень сильного мороза заменяя его суконным. Суворов подскакал во весь карьер, круто осадил лошадь перед головным эскадроном и, протянув руку по направлению северного бастиона, только что взятого нами, приказал что-то и поскакал дальше.

От гусар отделились трое и стремительно бросились к бастиону.

— Что такое, что он сказал, что? — стал спрашивать Проворов, но никто не знал, в чем было дело.

Чигиринский подъехал рысью.

— Проворов, — сказал он, — прими от меня начальство над эскадроном. Я вместо подполковника Фриза взял команду дивизионом. Его Суворов послал на бастион, там переранены все батальонные командиры.

«Зачем не меня, не меня послал! — повторял себе Проворов, довольный и радостный выезжая вперед эскадрона. — Впрочем, дей-

дет и до нас очередь».

Выехав вперед, он мог лучше видеть все раскрывавшееся пред ним пространство. На северном бастионе хозяйничали наши, поворачивая турецкие пушки дулом к неприятелю, но левее, у Бендерских ворот, колонна бригадира Орлова только подошла еще к Талгарарскому укреплению, и часть ее взобра-лась по приставным лестницам на вал, а дру-гая часть была по эту сторону рва.

«Пора!» — сказал внутренний голос Прово-рову.

«Куда пора? » — стал соображать он, но в это время Бендерские ворота зашевелились, распахнулись, и целая лавина турок хлынула в ров по направлению спускавшихся туда ка-заков Орлова.

Однако Проворов со своим эскадроном летел уже им наперерез, увлекая за собою остальной полк. Он не знал, хорошо или дур-но он делает, и чувствовал только, что иначе он поступить не мог.

III

— Помилуй Бог, хорошо! — воскликнул Су-воров, увидя своевременное движение воро-

нежских гусар.

На подмогу им он немедленно двинул казачков, и два эскадрона Северского карабинерного полка и бегом два батальона Полоцкого мушкетерского. Вылазка была отбита, и турки, отважившиеся на нее, почти все уничтожены, а немногие оставшиеся спаслись, скрывшись в крепости.

Так был охвачен со всех сторон Измаил, и в ранний утренний час его валы были взяты, и неприятель вытеснен из крепостных верков. Но турки все еще превосходили численностью штурмующих, и последним теперь с оружием в руках предстояло брать город, куда отступил неприятель. Каждое здание, каждую улицу, площадь приходилось отбивать врукопашную от врага.

Уже во время боя на валах нами были использованы все резервы, и волей-неволей нужно было довольствоваться силами, какие были. Бросские ворота были открыты казаками, и в них вступили три эскадрона Северского полка, а в Хотинские, отворенные колонною полковника Золотухина, вошло сто тридцать гренадер с тремя полевыми орудиями. В

Бендерские ворота вошли воронежские гусары.

Однако Суворов запретил коннице идти внутрь города, пока пехота штыками не очистит ей пути. С ружьями наперевес, с развернутыми знаменами и музыкой двинулись суворовские полки в город. С запада повел их родственник светлейшего, генерал-поручик Павел Потемкин, с севера пошли спешенные казаки Платова, а с востока был Кутузов, с южной — Рибас.

Закипел новый бой.

Узкие улицы были полны турками, из окон каждого дома раздавались выстрелы; стреляли не только мужчины, но и женщины. Кромешный ад усилился начавшимися пожарами.

Около полудня Ласси, первым вошедший на крепостной вал, первым же достиг середины города. Здесь он наткнулся на татар, вооруженных длинными пиками и засевших за стенами армянского монастыря. Ими предводительствовал Максуд-гирей, князь чингисханской крови. Он защищался до последней возможности.

Наконец город был очищен картечью, и к часу дня все главное было сделано. Крепость, тот неприступный Измаил, на который Порта возлагала все свои надежды, пала перед несокрушимой доблестью русского солдата и непобедимым гением Суворова. Немедленно на всех бастионах, где находились пороховые погреба, были поставлены сильные караулы, чтобы турки не могли взорвать их.

Каплан-гирей, брат татарского хана, победитель австрийцев при Журже в 1789 году, сделал попытку отбить Измаил у русских. Собрав несколько тысяч разбежавшихся татар и турок, он повел их на занимавших город русских и напал на черноморских казаков.

Мусульмане кинулись под звуки дикой янычарской музыки, изрубили казаков и отняли у них две пушки. Но два батальона гренадер подоспели на помощь с батальоном лифляндских егерей, и минутый успех турок стоил всем им жизни.

Самое сильное сопротивление оказали турки напоследок в хане, близ Хотинских ворот, куда отступил с северного каменного бастиона сам комендант Измаила Махмет с дву-

мя тысячами отборных янычар. Его атаковал полковник Золотухин с батальоном фанагорийцев. Янычары держались в продолжение двух часов, но были перебиты.

В два часа все колонны пехоты достигли города. Тогда Суворов приказал эскадронам карабинеров и гусар вместе с двумя полками казаков проехать по всем улицам и совершенно очистить их. В четыре часа пополудни победа была завершена — Измаил был покорен.

Комендантом покоренного Измаила Суворов назначил Кутузова, и тот немедленно поставил патрули по всем направлениям. Подбирались убитые, раненым подавалась помощь. Внутри города был открыт огромный госпиталь. Мертвых было столько, что очистить Измаил от трупов удалось лишь через шесть дней. Пленных направляли в Николаев под конвоем казаков, уходивших теперь на зимние квартиры.

Донесение Суворова Потемкину о взятии Измаила было кратко:

«Нет крепче крепости, отчаяннее обороны, как Измаил, падший перед высочайшим тро-

ном Ее Императорского Величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю Вашу Светлость».

IV

С той самой минуты, как Проворов выпустил лошадь, всадив ей шпоры в бока, и помчался навстречу выходившим из ворот туркам, делавшим вылазку, он потерял не только сознание времени, но вообще всего окружающего. Схватка с врагом разгорячила его; он махал саблей и рубил направо и налево, забыв о правилах приемов рубки и не отдавая себе отчета, как надо рубить. Движения были размашисты, руками он работал изо всей силы, но руки не устали у него, то есть он, вернее, не знал, устали они или нет, потому что вовсе и не чувствовал их.

И все было великолепно и страшно лихо: великолепно и лихо нес его добрый конь, с которым он чувствовал себя «одним куском», великолепно и лихо рубились наши, и турки тоже рубились великолепно и лихо. Поэтому, когда ряды поредели и уже стало необходимым задерживать в воздухе поднятую саблю, чтобы иметь время подскочить к врагу, стало

труднее и, главное, жаль, что эти турки не так уже ловко попадают под удары.

Когда же они бросились назад к воротам, затворили их и завалили камнями так поспешно, что нельзя было проскользнуть внутрь крепости за ними, — стало досадно, зачем приходилось кончать то, что так хорошо шло.

Проворову было решительно все равно, что его воронежцы блестяще отбили вылазку неприятеля, помогли этим колонне Орлова и что благодаря этому Орлов со своими людьми взял крепостной вал. Весь его интерес сосредоточивался на том, что сначала справа показывалась турецкая рожа, потом — слева, и надо было рубить эту турецкую рожу справа, а потом — слева.

Приходилось отъезжать назад, опять к прежним местам. Так было велено через ординарца, и Проворов, отдав приказание, немедленно увлекся тем, чтобы оно было исполнено как можно лучше его эскадроном.

Он собрал людей, выстроил их и повел бодрой рысцой вразвалку, то есть тем аллюром, когда и люди, и лошади имеют вид, что гор-

дятся собою и тем, что вот, мол, как все хорошо они делают.

Отъехав, они несколько раз возвращались к крепостным валам за ранеными и вывозили их, перекинув через седло. По ним стреляли из-за куртин, в особенности из-за той, которая была у Бендерских ворот, но от этого казалось только веселее и, когда приходилось отъезжать в безопасное место, куда не долетали пули, хотелось туда, где было горячее.

Потом Сергей Александрович, стоя опять в резерве, вел очень обстоятельный и подробный спор с Сидоренко о преимуществах конной и пешей службы. Они говорили об этом так страстно, будто вся суть их жизни зависела от решения вопроса, кому лучше на походе — пехотному или конному.

То и дело приходили вести со всего фронта, вести благоприятные. Пора было хоть съесть что-нибудь, но Проворов с Сидоренко долго говорили, не отрываясь и не слушая друг друга.

Когда ворота были открыты и они вошли в Измаил, впрочем, для того лишь, чтобы сейчас же остановиться по ту сторону вала, пока

пехота не завладеет улицами крепости, Проворов огляделся и спросил:

— А где же Чигиринский? Кто видел Чигиринского?

Он вспомнил, что его товарищ был назначен дивизионером вместо подполковника Фриза, помнил, что Чигиринский сдал ему командование эскадрой, и они больше не виделись. Никто не мог даже сказать, как и где участвовал Чигиринский в отражении турецкой вылазки. Что он участвовал в ней, не было сомнения, но никто не мог вспомнить, чтобы видел его во время рубки. Положим, никто никого не мог бы вспомнить в деле (каждый помнил только себя), но Чигиринского нигде не было сейчас, и казалось, что он пропал и раньше. Оставалось предположить, что он упал в самом начале схватки. Раненые были приведены более или менее в известность, но среди них Чигиринского не было.

Проворов забеспокоился, разослал людей с нарочною целью разыскать ротмистра, сам, наконец, ездил, насколько имел возможность отлучиться, но никаких следов Чигиринского не было.

Однако эта тревога о приятеле была поглощена тревогой общего дня, давшего такую смену впечатлений, что масштаб важного и неважного, общего и частного совершенно потерялся, и в конце кондов получилась одна лишь физическая непреодолимая усталость. Проворов клевал в седле носом, безуспешно борясь с одолевавшим его сном. Они уже очистили улицы от турок, они сделали все, они теперь уже не мечтали даже об отдыхе и о той минуте, когда можно будет слезть с лошади, лечь, вытянуться и заснуть. Проворову казалось даже, что этот миг не наступит никогда. И странно! Как только выяснилось несомненное приближение его, то есть как только было получено приказание эскадрону вернуться к своему лагерю, этот миг стал казаться дальше, чем прежде. Но он все же наступил.

«А вдруг я вернусь в землянку, а Чигиринский уже там?» — мелькнуло у Проворова.

Он вернулся в землянку, однако не застал в ней приятеля — она была пуста. И тут, в этой пустой землянке, Сергей Александрович вдруг как-то определенно решил, что с Чиги-

ринским они больше не увидятся.

V

На другой день служили торжественный молебен в присутствии всех войск. После молебна Суворов благодарил войска. Сегодня он опять был обыкновенным, простым человеком. Только когда он подошел к своим фангорийцам, то на миг стал светлый, радостный, как вчера.

Все ликовали и радовались. Победа была совершенная и тем более значительная, чем труднее она досталась. Не было сомнения, что теперь турки будут просить мира. Войскам предстояли спокойные зимние квартиры и возможность хорошего отдыха, а главное — сознание блестяще исполненного долга поднимало настроение.

Проворов, увлеченный общим подъемом, не мог не чувствовать себя по-праздничному.

Во время молебна и после него произошел целый ряд счастливых встреч. Многие, которых считали пропавшими, оказались живы и здоровы и появлялись, к радости и удовольствию товарищей. Только не было Чигиринского. Его не находили ни в числе раненых,

ни в числе убитых, и в числе живых он не показывался.

Проворов все-таки ждал и надеялся, пока не приехал к нему вестовой, доложивший, что среди трупов, наполнявших вал у Бендерских ворот, был убитый ротмистр. Узнали его по мундиру и эполетам, лицо же его было обезображено до полной неузнаваемости.

Сергей Александрович и Сидоренко ездили, чтобы посмотреть печальную находку, и видели труп Чигиринского; солдаты на ружьях отнесли его к свежим могилам и предали земле.

Это выбило Проворова из праздничной колеи, и он не мог участвовать в торжестве и генеральной попойке, устроенной офицерами после молебна по случаю одержанной победы. Он ушел в землянку и заперся там, заложив дверь болтом.

В землянке он был один. Он зажег фитиль глиняной лампы и при ее свете с помощью кинжала принялся откапывать зарытую в углу жестянку. Он считал своею обязанностью исполнить волю покойного, совершенно точно сказавшего, что надо было делать в случае

его смерти.

Когда Проворов добрался до жестянки, зарытой неглубоко, кинжал стукнул о ее крышку; он не без суеверного трепета ощутил как бы непосредственную связь между ним и умершим Чигиринским. Всего лишь третьего дня ночью последний зарыл эти документы, и вот земля еще не успела утоптаться, а он должен доставать их, как бы протягивая через эту землю руку зарытому в ней товарищу.

В жестянке лежали документы, обернутые в кожу, перевязанные черным шелковым шнурком и запечатанные большой треугольной печатью главной масонской ложи. Проворов вынул их, повертел в руках и спрятал в карман пока, решив потом обдумать, как с ними лучше поступить, чтобы сохранить их.

Под документами лежала тетрадка, написанная рукою Чигиринского. Сергей Александрович взял ее, присел к столу и, развернув, стал читать.

«Меня не будет, когда эти строки попадут тебе для прочтения, — писал Чигиринский, начиная с прямого обращения к приятелю, — и случится это послезавтра, так как я знаю на-

верное, что после штурма Измаила мы с тобой не увидимся. Прощай, Сережа! Не поминай лихом и верь одному, что вовсе я не был на самом деле таким легкомысленным кутилой, каким притворялся.

А притворялся я потому, что это было единственной моей защитой против масонов: ведь им не было смысла опасаться и преследовать бесшабашного кутящего пропойцу. Я был одет для них броней этого моего кажущегося легкомыслия и жил спокойно, потому что они считали меня ничтожеством, безопасным для них.

Теперь они знают, что ошибались и что я владею губительным для них секретом. Они сделают все возможное, чтобы погубить меня, и мы с тобой больше не увидимся. Сохрани по возможности документы и доставь их куда следует.

Теперь слушай! Самый серьезный и важный завет, следовать которому прошу неотступно, состоит в том, чтобы ты не соблазнялся участием в тайных обществах. Если дело хорошее, честное, то оно не может требовать тайны и не должно скрываться под покровом

черных занавесок и под сводами чуть ли не гробовых склепов. В тайных обществах направляющая сила скрыта и неизвестна, и, будучи членом тайного общества, ты не знаешь, чьему делу ты служишь и какая это сила, которой ты повинешься, и куда ведет она. Какие бы заманчивые перспективы ни открывали там, какие бы ни ставили соблазнительные цели, не верь ничему, если ты твердо знаешь, кто именно в конце концов руководит тобою и кому в конечном результате ты содействуешь. И чем соблазнительнее будут предложения и обещания, тем осторожнее относись к ним, чтобы не попасть в ловушку и не стать орудием людей, которые действуют как враги твоей родины. Особенно опасайся вступать в тайные общества открытые, которые будто бы являются противомасонскими. Такие общества, направляемые против масонов, часто учреждаются самими же масонами для того, во-первых, чтобы лучше распознать своих противников, а во-вторых, объединив их в тайное общество, втянуть в губительную историю и запутать в какой-нибудь такой гадости, от которой потом не отделаешься ни

пестом, ни крестом. Если же тайное противомасонское общество основано даже людьми, истинно считающими вольных каменщиков вредными для человечества, все-таки в конце концов туда под видом энергичных деятелей, пользуясь своим опытом тайных организаций, проникают сами же масоны, быстро захватывают власть и ведут сочленов, куда им нужно, а наивные слепцы работают на пользу вольных каменщиков, воображая, что борются против них. Нельзя, желая уничтожить тьму, держать свет под глиняным горшком, нельзя учреждать тайные общества для утверждения правды и истины.

Что же делать? Как же бороться с масонством, если оно в корне своем вредно и идет против России?

Вот в ответе на этот вопрос и заключается главная цель настоящих моих записок, из которых ты увидишь, кто такой и что такое был, собственно, я! »

VI

Проворов низко склонился над рукописью и продолжал читать.

«Вот видишь ли, — читал он дальше испо-

ведь Чигиринского, — для того чтобы противодействовать такому тайному обществу, как масонство, не нужно собираться в отдельные тайные кружки, ибо, во-первых, то, что знают двое или трое, уже перестает быть тайной, а во-вторых, твои сообщники могут легко испортить то, что тобою сделано, или ты можешь напортить им. Единственная и опасная для масонов борьба против них — та, что ведут отдельные люди, о которых они не знают: эти неизвестные им люди, никак не подозреваемые ими, имеют возможность действовать ежеминутно, длительно, постоянно, соображаясь лишь с тем, выгодно ли это может быть вольным каменщикам или нет, и если выгодно, то воздерживаясь от действий, которые клонятся к выгоде масонства. Вот и все. Только такой „заговор“ против масонства людей „самих собою“, без образования тайных обществ, может быть опасен масонам и действителен против них. Все остальное, все иные виды борьбы уже использованы и известны им и могут служить лишь им на пользу, потому что у них уже выработаны долготлетние приемы противодействия. Каждому

же единичному усилию они противодействовать не в состоянии, так как, действуя все вместе, они должны напрягать слишком много усилия на сравнительно маленькие нападения, и между тем среди этих отдельных маленьких источников нападения могут попасться весьма опасные силы.

Такой опасной силой был я. Дело в том, что от природы я обладал способностью усыплять нервных людей и затем делать им внушения сообразно моей воле. Как и почему развил я в себе эту способность, не буду тебе описывать, потому что, с одной стороны, это может показаться тебе невероятным, а с другой — в данном случае это знать тебе не необходимо. Достаточно сказать тебе, что при известных обстоятельствах я как бы обладал, например, шапкой-невидимкой. Стоило мне внушить нескольким людям, даже целому собранию их, чтобы они меня не заметили, не видели, и я мог бы входить к ним как бы прикрытый шапкой-невидимкой. Они не подозревали, что я нахожусь в их среде, и говорили все, не стесняясь, а между тем я присутствовал тут, все видел и слышал. Подобным «массовым»

внушениям не удивляйся. В Индии факиры производят их, показывая даже фокусы. Бросает, положим, факир вверх веревку, она виснет сама собой в воздухе, и по ней карабкается вверх обезьяна. Все это видят, а между тем веревка, конечно, в воздухе повиснуть не может и, подкинута вверх факиром, падает обратно на землю, так что никакая обезьяна лезть по ней не может, но факир внушает толпе, чтобы она видела лазающую по веревке обезьяну, и та видит.

Обладая силой внушать свою волю сразу целым группам, отдельные личности я подчинял совершенно легко. Большинство из них исполняло все, что я приказывал им, беспрекословно. Вследствие этого мне не нужно было никаких обществ, никаких братств для борьбы против масонства, и я действовал единолично и противопоставлял их хитро обдуманым совместным козням свою единоличную волю без помехи.

Насколько действия мои были успешны, можешь судить по тому, что, несмотря на все старания масонов раскинуть свою сеть по России, несмотря на затрачиваемые ими на

это средства, им ничего не удалось достигнуть у нас. Никто не знает и, вероятно, не узнает, что причиной этого был легкомысленный кутила, совершенно несерьезный человек Ванька Чигиринский. Я говорю «никто не узнает», потому что ты должен сохранить это в тайне, ибо болтать тут нечего. Почему мы знаем, сколько еще таких, как я, работает в одиночку, защищая Россию от масонской кабалы? Мешать им излишней болтливостью, давая знать масонам, чтобы они остерегались, конечно, незачем; напротив, надо помочь им.

Одному, в особенности тому, кто владеет, подобно мне, силой внушения, сподручнее управляться без всякого «тайного общества», обыкновенно сводящегося к кукольной комедии переодеваний и нелепых по существу ритуалов.

Организация тайного общества хороша разве для взаимного шпионства и вообще для установления «наблюдения». Да еще дисциплина обыкновенно довольно развита у таких «братств», как масонство. Но скажи, пожалуйста, зачем мне шпионы и наблюдения,

если я лично в своей шапке-невидимке могу присутствовать при любом заговоре или, усыпив человека, могу заставить его рассказать все, что он знает и даже что он думает? Пример этому ты видел на денщике-молдаванине, благодаря которому мы узнали, что камер-юнкер Тротото подсыпал яду, чтобы отравить нас. Согласись также, что мне не нужна никакая дисциплина, раз я путем внушения могу приказать почти любому человеку все, что мне вздумается или, вернее, все, что найду нужным и полезным.

Я поставил себе задачей разоблачение масонской деятельности и выполнил это, раздобыв документы, уличающие их, и твердо уверен в том, что эти документы будут переданы государыне или наследнику и сохранятся на все времена в секретном архиве как улика с тем, чтобы навсегда помешать деятельности масонов в России. Теперь, когда ты знаешь все, что касается моей работы на общественном, так сказать, поприще, я считаю долгом сказать тебе о тебе самом. Насколько мне думается, ты уже не так сильно вздыхаешь по той «принцессе», как мы называли ее — пред-

мет твоих мечтаний. Хотя ты и говоришь, что не забыл ее, но на самом деле ты заговаривал о ней реже и, вероятно, вспоминал о ней еще реже, чем до похода. Я вполне понимаю, что в походе быть влюбленным трудно. Но пусть это твое видение, эта твоя принцесса так и останется для тебя «видением». Ведь ты грезил ею во сне. Думай, что это я тебе внушил эту грезу, а на самом деле ее не существует. Или нет, она существует, но только в твоём сне. Может быть, тебе будет тяжело отказаться от мысли, что она существует во плоти, но подумай, ведь зато она всецело принадлежит тебе, и никто другой «обладать» ею не сможет, потому что никто другой не сможет мечтать твоею мечтою. Я внушил тебе представление о принцессе, и пусть так это и останется плодом внушения, мечтою, сном, и пусть она растает и исчезнет вместе с новой открывшейся для тебя деятельной, походной, военной жизнью. Почем знать, может быть (и я почти уверен в этом), ты раньше или позже встретишь на своем пути девушку, которая тебе понравится и которую ты найдешь достойной себя. Не отворачивайся от своего сча-

стья! Будь счастлив по-земному, живи на земле, а мечты оставь сновидениям».

VII

«Нет, он с ума сошел! » — говорил сам с собою Проворов, ходя по маленькому пространству землянки.

Рукопись Чигиринского, только что прочитанная им, лежала на столе, освещенная масляною лампою.

— Нет, он с ума сошел, — повторил он вслух, поворачиваясь. — Как это, чтобы я забыл мою принцессу... нашел другую и был счастлив «по-земному, живя на земле»? Да без нее, без мысли о ней я и жить-то не хочу вовсе! Вот что!.. Он говорит, что внушил мне этакий сон. Но какое имеет он право внушать? Впрочем, я не то... все равно, если даже и внушил... но ведь тогда она не существует... Как же это так?

Проворов почувствовал, что запутался в своих мыслях, сел на койку, оперся локтями о колени и закрыл лицо руками. Он вспомнил, что ведь когда он увидел свою принцессу в первый раз в окне домика Китайской деревни, то сейчас же встретился с Чигиринским.

Значит, последний был тут поблизости. Это являлось теперь в связи с полупризнанием (Проворову хотелось верить, что это — лишь «полупризнание»), сделанным в рукописи, весьма знаменательным. И потом, когда он уснул в кресле и увидел принцессу, а она ему во сне сказала, чтобы он приходил к Елагину на маскарад, опять тут же был Чигиринский. Он ведь мог знать о том, что маскарад назначен у Елагина.

«Батюшки! — вспомнил Проворов. — Да ведь костюм-то Пьеро, который мне нужно было надеть, тоже был готов у Чигиринского и пришелся на меня, как будто был сшит по моей мерке, точь-в-точь... Опять тут, значит, были его штуки. Но если это так, то зачем он это делал? Все это так сложно, что и понять ничего нельзя, и сообразить. Если вспомнить все обстоятельства, то, действительно, вышло, будто все было подложено и внушено Чигиринским. Но зачем это было нужно ему?

А слово принцессы: «Надейтесь», — а фраза, которую она повторила о розах на маскараде! — пришло вдруг в голову Проворову, — ведь Чигиринский даже и не знал, что она да-

ла опознать себя эту фразою на маскараде, и даже удивился этому».

Опять новые соображения закружились у него в мыслях, соблазнительно клонившиеся к тому, что его принцесса существует и что он видел ее во плоти, несмотря на признание Чигиринского в рукописи.

«Но зачем это ему было нужно? » — предлагал он себе в сотый раз вопрос и не находил ответа.

В дверь постучали, и так настойчиво и властно, что сразу было видно, что не перестанут стучать, пока не отворят.

— Кто там? — спросил Проворов. Ответа не было, но стук повторился.

Сергей Александрович поспешно сунул тетрадку назад в жестянку и бросил в разрытый угол землянки плащ, чтобы прикрыть яму и вырытую из нее землю. Затем он подошел к двери и снял болт.

Дверь моментально отворилась, в землянку втерся, не спрашивая разрешения войти, камер-юнкер Тротото. Он был свеж, румян и улыбался.

— Радость моя! — начал он, разводя рука-

ми, как будто вместе с Проворовым хотел обнять весь мир. — Я пришел соболезновать вам... Какая утрата, какая ужасная утрата!

— Вы о чем это, собственно? — осведомился Проворов.

— Как о чем? О смерти вашего друга Чигиринского. Подумать только, такой молодой и уже убит! Какая потеря для вас, прелесть моя! Я думаю, ужасно потерять молодого друга. Ведь дружба, сие священное чувство... Ужасно!

Тротото говорил, а глазки его так и бегали кругом; он явно высматривал и хотел найти что-то.

— Что же делать — война! — коротко ответил Проворов.

— О да, — подхватил Тротото, — война! Я всегда говорю, что война есть ужасное явление. Но знаете, моя радость, я ведь к вам пришел по делу. Я пришел к вам по поручению братства масонов. — И Тротото сделал рукою знак, открывавший, что он принадлежит к довольно высокой степени, которой, по статусу, Проворов, как неофит, должен был бесприкословно повиноваться. — Вот видите, мой

милый, после смерти вашего друга должны остаться документы. Вы, вероятно, знаете, что он тоже принадлежал к братству вольных каменщиков?

— Кажется.

— Не «кажется», моя радость, а в действительности так: он принадлежал и носил кольцо на руке и треугольник на ленте на груди под камзолом. И вот ему, как масону, были поручены документы на хранение. Теперь, после его смерти, он должен вернуть их...

— То есть как это — он должен вернуть их, если уже умер?

— Ах, моя радость, это — только игра слов! Я хочу сказать, что теперь, после смерти вашего друга, документы должны быть возвращены... Вы слышали что-нибудь о них?

— Право, я не знаю, что вам ответить: мало ли о каких документах я слышал на своем веку, но если я не знаю, о каких именно вы говорите, то как же вы желаете, чтобы я вам ответил?

— Ваши слова похвально доказывают вашу скромность и ваше искусство в диалектике. Но я вас спрашиваю, известно ли вам,

остались ли после смерти вашего друга Чигиринского документы или нет? Если известно и документы у вас в руках — какие бы они ни были, — дайте их мне, я их рассмотрю, и, если это не те, которые нужно, верну их обратно.

— Послушайте, Артур Эсперович, ведь это пахнет насилием.

— Ах, моя радость, теперь нет тут никакого Артура Эсперовича! Пред вами брат-масон и гораздо высшей, чем вы, степени, и вы обязаны повиноваться ему.

— Извините, но я не считаю себя обязанным повиноваться. Ведь я ни в какую степень посвящен не был и никаких обетов не давал. Я был только неофитом.

— О, это — недоразумение! Вы были признаны достойным посвящения, вас испытывал доктор Герман!

— Но за этим испытанием ничего не последовало. Меня никуда не посвящали.

— Ах, какое важное упущение! Но, моя радость, все равно вы и в качестве неофита обязаны повиноваться. Ведь вы же будете посвящены.

— Нет, покорно благодарю!

— Но разве вы не жаждете узнать свет истины?

— Полноте, какая же это истина! Вам нужны какие-то документы, и вы желаете получить их через меня, заставляя повиноваться вам. При чем тут свет истины, скажите, пожалуйста? Тут дело идет о документах, а не об истине.

— Но путем повиновения вы познаете истину.

— Нет, путем моего глупого, извините за выражение, повиновения вы получите только документы, а на каком основании? Только потому, что уговорите меня, как ребенка, играть в масонство. Ты, дескать, — масон, и я — масон, и потому ты мне повинуйся, и дело с концом. Нет, дудки! Я не так уж глуп.

— Но, моя радость, подобным образом никто никогда не говорил, когда речь заходила о братстве вольных каменщиков.

— Ну вот, а я говорю.

— Но ведь вы косвенно признаете, что документы у вас есть, только вы не желаете отдать их.

— Я не сказал вам, что документы у меня,

и не мог сказать, тем более что не знаю, какие именно документы вам нужны.

— Но, моя радость, помните, что вы можете понести наказание за неповиновение. Братья-масоны карают очень сурово за неповиновение.

— Например?

— Например... ну, я не знаю. Ну, для вас может быть навсегда закрыт путь к познанию света истины.

— Но ведь надо еще доказать, что масонство обладает этим светом.

— Но это доказано веками.

— Под спудом, в тайниках лож, из которых масоны боятся выйти на свет... Нет, все это нестрашно и незанятно.

— Но есть вещи более страшные.

— Отравы, кинжал?

— Может быть.

— Послушайте, господин Тротото, вы, кажется, хотите пугать меня смертью, и когда же? Во время войны, в действующей армии, где каждый день грозит смертельная опасность! Право, даже смешно!

— Ну, именно смешно: ведь я, моя радость,

пошутил только, ведь я несерьезно говорил... Ну, конечно, все это — вздор. Надо справиться хорошенько: может быть, ваш друг Чигиринский еще при жизни вернул документы, и тогда все хорошо, и нам не о чем заботиться. До свидания! Большое спасибо за очень интересный разговор. До свидания!

Проворов проводил Тротото и, взяв тетрадь, пошел и бросил ее в костер, который разложили солдаты, чтобы греться. Документы, оставленные Чигиринским, он спрятал у себя на груди под камзолом.

«Что бы ни было, а ее я не забуду!» — решил он, глядя на сворачивающиеся в огне листы тетрадки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

Часть войск была расквартирована на зиму в Измаиле, остальные полки направились на зимние квартиры в Бессарабию и на юг России. С ними потянулась целая армия лиц, состоявшая из иностранцев, статских, всякого рода авантюристов и искателей приключений, явившихся под Измаил ради сильных ощущений. Многие из них принимали участие в штурме и показали себя героями.

Камер-юнкер Тротото не участвовал в бою, предпочитая оставаться в это время на эскадре Рибаса, на палубе находившейся вне выстрелов бригаантины. Он рассчитывал и вернуться в Россию на эскадре же, но доктор Герман, приехавший под Измаил почти за день до появления Суворова, предложил ему довести его до Бендер в своей дорожной берлине. Экипаж был удобный, общество доктора приятно, а Бендеры были заманчивы, потому что там жил светлейший Потемкин, проводя время так пышно и весело и в такой роскоши, что разве в Париже можно было найти толь-

ко что-нибудь подобное. Камер-юнкер Тротото побывал уже в Бендерах при «дворе» Потемкина, и ему очень хотелось снова вернуться туда.

Тротото с доктором Германом хорошо пообедали на восточный манер в Измаиле, наелись баранины, вкусно приправленной чесноком, и запили бутылкой старого венгерского. В покойной берлине ехать было очень приятно, и Артур Эсперович чувствовал себя превосходно.

— Радость моя, — сказал он доктору по-французски, — как хотите, но необходимо эту историю с документами покончить. Ведь эти документы важные... если они попадут в руки русского правительства, тогда я не знаю, что произойдет.

— Хорошо, все это мы знаем. Что же вы намерены делать?

— Ах, моя радость, с этим Чигиринским уже покончено! Теперь надо навсегда покончить с Проворовым. Ведь документы у него, в этом нет сомнения. Конечно, Чигиринский передал их ему. Потому что на Чигиринском, труп которого я нашел и осмотрел, никаких

бумаг найдено не было. Он не носил их на себе в последний день, за это я вам ручаюсь. Таким образом, они у Проворова. Да и по разговору его видно было, что они у него. Он лгать еще не умеет и прямо сказать, что документов у него нет, не хотел. Но если бы вы слышали, как он дерзко разговаривал со мною, несмотря на то что я сделал ему знак своей степени! Он сказал, что вовсе не желает подчиняться. С такими людьми стесняться нельзя, дисциплина прежде всего!

— Опять вы хотите прибегнуть к крепким мерам?

— Что называют, радость моя, «крепкими мерами»? По-моему, это не более как печальная необходимость!

— Вы уж одного ни в чем не повинного человека чуть не отравили? Помните, денщика-молдаванина.

— Ах, этого бедного малого? Но ведь это был только простой денщик, и больше ничего. А вы откуда знаете эту историю, доктор?

— Пора вам увериться, наконец, мой милейший камер-юнкер, что я всегда знаю все, что мне нужно знать.

— Это очень хорошо, доктор, но, насколько я понимаю, вы против того, чтобы поступить с Проворовым по его заслугам?

— В чем вы его обвиняете?

— В неповиновении высшей степени.

— Так что, неповиновение высшей степени должно наказываться смертью?

— Зачем говорить «наказывать»? Тут дело не в наказании, а просто в том, чтобы устранить вредного нам человека, не желающего подчиняться старшим, и достать документы.

— Берегитесь, чтобы не произнести в таком случае смертного приговора самому себе! Ведь если вы считаете достойным смерти того, кто не повинуется старшей степени...

— Безусловно!

— То вы сами будете подлежать смерти, если ослушаетесь в свою очередь.

— Я ослушаюсь? Но при каких обстоятельствах и кого я ослушаюсь?

— Меня. Вы знаете, что я старше вас в братстве и что вы обязаны повиноваться мне?

— Знаю и повинуюсь.

— Ну так вот, я вам запрещаю трогать Про-

ворова! Мало того, за его жизнь вы ответите собственной жизнью даже в том случае, если будете и непричастны к его смерти.

— Но, моя радость, это же ужасно! А если кто-нибудь другой покусится на него... или он сам сделает такую гадость, что умрет?

— Что делать, камер-юнкер? Постарайтесь, чтобы этого не случилось! Уж теперь ваше дело оберечь его. Вы ответите своей жизнью. Я не шучу.

— Ах, моя радость, я и сам понимаю, что такими вещами не шутят, в особенности среди братьев-масонов! Но неужели жизнь молодого Проворова так дорога для вас?

Доктор неприятно рассмеялся.

— Мой милейший камер-юнкер, имейте в виду, что для меня ни дорогих, ни близких нет. Для меня важно только дело, которому мы служим.

— Но разве дело требует, чтобы Проворов непременно жил?

— Разумеется! Ведь если Чигиринский не носил при себе документов, а куда-то, очевидно, спрятал их, то, по всей вероятности, он научил этой хитрости и Проворова.

— Да, это соображение приемлемо и более или менее правдоподобно.

— Ну а если Проворов спрятал куда-нибудь документы, то, покончив с ним, мы навеки погребем возможность достать их, так как он унесет в лучший мир с собою тайну их местонахождения. Вот тогда за этой тайной и придется немедленно отправить вас в этот мир, авось вы сообщите оттуда, что узнаете.

— А знаете, моя радость, ведь это верно, ведь это очень верно. Надо и вправду сначала выпытать секрет, где документы у Проворова.

— Вот это будет более похоже на дело.

— Но только почему же именно я должен блюсти его жизнь? Нельзя ли поручить это кому-нибудь другому?

— У меня нет, кроме вас, никого свободно под рукою, а вам все равно нечего делать.

— Но где же я его теперь найду?

— Там же, вероятно, где вы хотели его найти, чтобы «кончить» с ним, как вы сказали, — в Бендерах.

— Правда! Резон всегда на вашей стороне, радость моя доктор, ведь Воронежский гусарский полк завтра выступает в Бендеры.

Воронежский гусарский полк был послан Потемкиным Суворову, нуждавшемуся под Измаилом в кавалерии, и, выполнив свою задачу, направлялся в Бендеры, где следовало празднество за празднеством по случаю блестящей победы русского оружия. Погруженный в пышность Потемкин рад был каждой возможности блеснуть роскошью своих пиров (без них ему было скучно) и, конечно, не мог упустить такую благодарную причину, как победа, чтобы не отпраздновать ее достоящим образом. Прибытие и встреча лихого Воронежского полка, геройски показавшего свою доблесть, входило именно в ряд этих торжеств.

Для въезда были устроены арки, молодые девушки бросали цветы и венки, доставленные из оранжерей, играла музыка, и дома были увешаны флагами. Сам светлейший на коне, окруженный блестящей свитой, выехал навстречу полку и, пропустив его церемониальным маршем, благодарил и от своего имени, и от имени государыни. Солдатам был устроен обед в нарочно сколоченном для это-

го барাকে, затянутом материей цветов полка. Офицеры были приглашены к столу светлейшего, у которого вечером, после обеда, должен был состояться бал.

Проворов чувствовал, что у него разбегаются глаза от всего, что его вдруг окружило в Бендерах после более или менее суровых условий боевой жизни. Эти цветы среди зимы, эти красивые молодые восточные лица женщин и девушек, флаги, арки, музыка, блеск Потемкина и его ласковое обращение — все это кружило ему голову и действовало на него опьяняюще. Но это опьянение не было похоже на то, что Сергей Александрович испытывал в бою, где тоже кружилась голова и все мелькало кругом. Там, в бою, было упоение самозабвения, здесь, напротив, как-то особенно чувствовалась нега всего тела в богатых, устланных коврами покоех, теплый воздух которых был пропитан одуряющим запахом восточных курений.

Потемкин казался очень любезным и внимательным хозяином и находил приветливое слово для каждого.

Своею любезностью он, видимо, хотел от-

тень досадную сцену, происшедшую между ним и Суворовым, когда победитель Измаила явился к нему в Бендеры. Потемкин поспешил на лестницу, чтобы встретить Суворова, но едва успел спуститься несколько ступеней, как тот взбежал наверх. Они обнялись и несколько раз расцеловались.

— Чем я могу наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич? — спросил Потемкин.

— Ничем, князь, — ответил Суворов, — я — не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и государыни, никто наградить меня не может.

Потемкин побледнел, повернулся и пошел в зал и теперь желал показать, как он умеет быть мил и любезен с людьми, достойными его расположения.

Проворов в числе других был очарован его обхождением и данным им праздником. Он с восторгом обедал и сделал честь кушаньям и винам, охотно танцевал и ухаживал за дамами, которых был целый цветник.

Тут действительно оказывался целый штат, своего рода двор, где все и всё были за-

няты одной персоной — самым светлейшим. Только и разговора было о том, в каком он сегодня настроении да что он сказал или к кому обратился. Здесь говорили не о погоде, а о расположении духа светлейшего, здесь не было других успехов, кроме милостивого обращения Потемкина, всей обратной стороны всего этого Проворов не разглядел так сразу. Его поразили пышность, блеск, кажущееся веселье и утонченная вежливость. Ему вспомнился Петербург.

Камер-юнкер Тротото чувствовал себя как рыба в воде. Он порхал из зала в зал, из гостиной в гостиную, и всюду у него были знакомые, всем он протягивал руки и неизменно приветствовал всех: «Ах, радость моя!»

Нельзя сказать, чтобы все были одинаково рады ему, но его знали все и встречали улыбкой, не лишенной полунасмешливого снисхождения.

— Ах, моя радость! — раскинул он обе руки перед Проворовым, встретясь с ним.

— Здравствуйте, — поспешно ответил тот на ходу, — простите, я тороплюсь к даме, чтобы танцевать.

— Танцуйте, моя радость, танцуйте!

Найдя Сергея Александровича, Тротото не выпускал уже его с глаз. Он тщательно следил, с кем Проворов танцует и нет ли в зале кого-нибудь, кому он отдал предпочтение. Но, по правде сказать, все танцевавшие женщины и девушки были красивы и молоды одинаково, и Проворов веселился среди них беззаботно и без всякой предвзятой мысли, и танцевал не по выбору, а просто с той дамой, которую ему приходилось случайно приглашать. Тротото никаких выводов и наблюдений сделать не мог.

III

При разъезде по окончании бала на лестнице Тротото опять поймал Проворова и спросил:

— Радость моя, вы что теперь делаете?

— Да вот жду Сидоренко. Мы остановились с ним на одной квартире, так вместе и поедем.

— Ах, моя радость, я спрашиваю, куда вы едете после бала?

— Да домой, конечно. Куда же еще?

— Но, моя радость, кто же едет домой

здесь, на Востоке?

— Разве здесь Восток?

— Ну, все равно: полувосток — все равно что Восток; поедем, я вас отвезу. Надо пользоваться, моя радость, молодостью и жизнью и веселиться по местным условиям, иначе страны, посещаемые нами, не принесут нам в смысле путешествий никакой пользы.

Проворов был разгорячен впечатлениями всего сегодняшнего разгула, нервы у него были приподняты, спать не хотелось.

— Ну что ж, все равно, поедемте! — сказал он, как бы мысленно махнув рукой.

Тротото усадил его в берлину, которую, очевидно, одолжил ему на сегодняшний вечер доктор Герман, и они поехали.

Возница из местных жителей, по-видимому, знал, куда ехать. Берлина выехала почти на окраину и остановилась у дома почти восточного характера, с резным балконом, обнесенным сквозною балюстрадой. Эта легкая, красивая, вероятно, летом среди зелени постройка теперь, зимнею ночью, с дувшим из степи холодным северо-восточным ветром, казалась особенно неладною и совершенно

не к месту. Но огонек очень приветливо светился в окне, и на троекратный стук Тротото в дверь она гостеприимно отворилась.

Они вошли в маленькую прихожую, жарко натопленную и устланную циновками. Встретила их старуха в платке с закрытою нижнею частью лица, обмениваясь с камер-юнкером какими-то, очевидно условными, невнятными словами так, что трудно было разобрать, на каком языке они произнесены. Старуха держала в руке глиняный светильник. Запах одуряющих пряностей охватил Проворова, как только он вступил сюда.

Старуха приподняла занавеску, и Тротото провел Сергея Александровича через темный, низкий проход в комнату, всю обвешенную коврами и шелковыми материями. У стены на полу лежала груда подушек, розовый фонарь сверху разливал мягкий свет.

Тротото с таинственным видом, как бы боясь нарушить торжественность минуты, показал на подушки и сам поместился на них, приглашая Проворова сделать то же самое.

«Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет!» — подумал Сергей Александрович, укла-

дываясь на подушках.

Черный евнух в необыкновенно роскошной одежде принес на маленьком низеньком восточном столике кофе. Раздались звуки зурны, сначала тихие, как будто робкие, но потом делавшиеся все громче и настойчивее. Ткани на стене раздвинулись, и, покачиваясь в такт музыке и мелко перебирая маленькими ножками, шурша шелком и развевая большим кисейным шарфом, показалась турчанка-танцовщица. Танец был ленивый, но вместе с тем необычайно страстный. Все движения турчанки были направлены в сторону Проворова, и видно было, что она танцует только для него одного.

Сначала Сергей Александрович смотрел на нее с любопытством и, кроме любопытства, ничего не ощущал, но потом мало-помалу стал увлекаться. Он приподнялся и, опершись на руку, глядел, не сводя взора, на танцовщицу. До сих пор он только слышал про красоту турецких женщин, но никогда не видел ни одной из них, или если и видел, то это были ненастоящие. А эта была действительно поразительно красива: большие круглые глаза с

длинными ресницами, маленький девственно очерченный рот с блестящими, ровными, как жемчуг, зубами и раздувающимися розовые ноздри.

«Так вот они какие, турецкие женщины! — думал, глядя на нее, Проворов. — Красивы, очень красивы... и эта, вероятно, красивее их всех... »

Танцовщица сделала поворот и умелым, рассчитанным движением с необыкновенной грацией упала на ковер почти совсем рядом с Проворовым. Он оглянулся — возле него камер-юнкера Тротото не было, тот исчез куда-то. Он был с глазу на глаз с красавицей турчанкой. Она была тут и являлась самой действительностью.

«Ну что ж, — подумал Сергей Александрович, — ведь та, моя „настоящая“, была только в грезах, в отвлечении, а эта вот тут, и стоит только протянуть к ней руки. Та же недосыгаема. Неужели же мне весь век довольствоваться одной отвлеченностью, одной грезой, сном? Ведь сам Чигиринский написал мне, что это он только внушил мне видение, а тут вот на самом деле».

Турчанка, видя, что ее чары недостаточно подействовали, вскочила и под усилившуюся частушку музыки завертелась, закружилась почти с бешеной быстротою, точно с каким-то отчаянием.

Проворова вдруг словно осенила мысль, что само сопоставление того, что происходило сейчас перед ним, с тем, что он называл своей «грезой», было почти кощунственно, — такая разница была между тем и другим.

«Что я, с ума схожу, что ли? — решил он. — Это, должно быть, пряные курения действуют на голову. Да ведь чтобы приблизиться к этой, необходимо забыть мою грезу, проститься с ее чистотою навсегда! А разве это возможно? Ведь проститься с нею — значит потерять жизнь, а потерять жизнь, что же останется?»

Турчанка, закружившись снова, упала на этот раз как бы в полном изнеможении. Проворов поглядел на нее, и ему стало жаль ее.

В самом деле, несчастная! Кто она и что она? Что заставляет ее так вот кружиться перед совсем чужим человеком, которого она видит в первый раз, и сразу, без слов, быть го-

товой отдать его близости? Не может быть, чтобы ее толкала на это любовь к деньгам, одна жадность получить плату, может быть, даже высокую: она была слишком молода и слишком наивны были ее усталые, грустные глаза.

Турчанка снова лежала на ковре, совсем близко, возле Проворова. Он поглядел: несомненно, он испытывал к ней одну только жалость. Конечно, целый ряд несчастий и горя привел ее к необходимости так вот отдаваться капризу постороннего, незнакомого ей человека. И чем больше думал он в этом направлении, тем светлее и легче становилось у него на душе и тем дальше становился он от танцовщицы и ближе был к своей грезе. Он протянул руку, коснулся волос турчанки и, отечески-нежно проведя рукою по голове ее, сказал с глубоким чувством сожаления:

— Бедная, бедная!

Она дрогнула, подняла свои длинные, темные ресницы — они дрожали у нее — и, как-то странно рассмеявшись, сказала: «Не понимаю русский!» — а затем убежала.

Из-за занавесок выглянула старуха, испу-

ганная и растерянная, и тотчас же скрылась.

Появившийся вновь через некоторое время Тротото застал Проворова лежащим на подушках и смотрящим перед собою как бы вдаль, совсем далеко от того места, где находился.

— Радость моя, вы сегодня, видно, не в духе? — спросил он, раскидывая, по обыкновению, руками.

— Нет, совсем напротив, — ответил Проворов, чувствувавший себя в отличном, как никогда, расположении духа, — но только ответите меня, пожалуйста, домой!

IV

— Нет, это — какой-то сверхъестественный человек, — сказал в ту же ночь камер-юнкер Тротото доктору Герману, с которым он остановился в одной и той же гостинице, но в разных номерах и который ждал его возвращения, очевидно, чтобы узнать, насколько было успешно предприятие камер-юнкера по отношению к Проворову. — Нет, моя радость, это, право, какой-то сверхъестественный человек! Представьте себе, я после приема у светлейшего посадил его в вашу берлину и отвез к из-

вестной старухе, располагающей самыми красивыми женщинами Востока...

— Ну уж и самыми красивыми! — улыбнулся доктор.

— Ну, все равно, одними из самых красивых женщин на всем Востоке... словом, просто прелесть! — Тротото поцеловал кончики пальцев. — И представьте себе, что случилось! — продолжал он. — Господин Проворов остался равнодушен к восточному танцу, с мастерством исполненному ради него и возле него. Расчет мой был, как я думал, безошибочен: я думал, он увлечется танцем и женщиной, — все это было у меня подготовлено, и старуха научила женщину, как и что делать, — и тогда будет в наших руках. Сонного мы его обыщем, и если даже ничего не найдем, то под влиянием страсти он проболтается. Понимаете, страсть ведь — самый сильный рычаг для влияний на человека! И вдруг он не поддался ее очарованию! Я теперь просто теряюсь. Я употребил такое сильное средство, и вдруг оно не подействовало. Это — какой-то сверхъестественный человек!

— Неужели он не поддался искушению? —

переспросил доктор.

— Представьте себе, не поддался. Я на его месте давно отдал бы все документы, все, что у меня спросили бы, за обладание этой женщиной, а он и усом не повел.

— Не надо всех судить по себе. Проворов, очевидно, выше той материальной, чисто телесной любви, о которой вы говорите.

— Но, моя радость, разве может быть иная какая-нибудь любовь, кроме телесной? Ведь если женщина красива, то она телом красива, и лицом, а лицо ведь — то же тело.

— Есть духовная красота.

— Ну нет! Какая там ни будь духовная красота, а если с лица мордovorот, то ничего не поделаешь.

— Это вы так думаете, господин камер-юнкер, а такие люди, как Проворов, очевидно, могут любить и существо бестелесное.

— То есть как же это — существо бестелесное?

— Ну, мечту, например, грезу...

— Ерунда! Пустяки! Никогда не поверю, что это возможно. Как? Отказаться от обладания прелестной женщиной ради какой-то бес-

телесной грезы? Вздор! Не может этого быть! И почему вы знаете, что Проворов отказался ради какой-то там грезы? Может быть, он просто имел какую-нибудь самую простую причину.

— Мой милый камер-юнкер, пора уже вам убедиться, что я всегда знаю все, что мне нужно знать. Но все равно, из всего этого я выведу одно лишь заключение: вы очень плохо исполнили свою обязанность, и деньги, которые я вам дал на расходы, истрачены совершенно зря.

— Но, моя радость, вы мне поставили невозможные условия, чтобы жизнь этого человека оставалась неприкосновенной...

— И подтверждаю еще раз, и повторяю вам, что вы ответите своей собственной персоной, если с ним случится что-нибудь серьезное. Хороши бы мы были, если бы вы с ним предприняли вместо вашего глупого танца нечто смертельное! Поймите, господин Трото, что если умрет Проворов, то вместе с ним умрет и тайна о том, где он скрыл необходимые нам документы. Ведь тогда нам придется искать их по всему земному шару, и притом

наобум.

— Ну хорошо! Если так, если вы меня упрекаете и говорите, что я напрасно истратил только деньги...

— Безусловно, напрасно. Вы видите это по результатам.

— Но я не знал, что Проворов окажется таким.

— Надо было спросить меня.

— Сожалею, что не сделал этого. Но все же я узнаю от Проворова тайну, где спрятаны документы.

— Каким образом?

— Это — мое дело.

— Но вы то же самое говорили и сегодня утром. Вы уверяли, что достанете у Проворова документы, только вам нужны моя берлина и тысяча рублей. Я предоставил вам и то, и другое, и что же? Ничего не вышло, кроме неудачи.

— Но теперь я у вас ничего не спрашиваю, я обойдусь сам.

— Зато я вас спрашиваю теперь, что вы намерены предпринять?

— Я намерен действовать для блага брат-

ства масонов и, согласно нашим статутам, никто, кроме великого магистра, не может заставить меня ввиду той степени, в которой я нахожусь, открыть мои намерения, если я нахожусь необходимым сохранить их в тайне для блага братства.

— Но вы знаете, что я обладаю высшей степенью, чем вы?

— Все равно я обязан беспрекословно повиноваться только великому магистру.

— Вы за это ответите.

— Я знаю, что могу подвергнуться ответственности, если не докажу, что в деле необходима была тайна даже от брата высшей степени.

— Я приказываю тебе говорить! — произнес повелительно доктор и сделал в воздухе рукою мистический масонский знак.

Тротото понял значение его и воскликнул, склоняясь:

— Вы — великий мастер! Простите, я не подозревал этого, раз вам неудобно было открыть раньше свое звание знаком.

— Но теперь я открыл и требую повиновения. Что вы намерены предпринять относи-

тельно Проворова?

— Достать у него документы.

— Но каким образом?

— Дело в том, мастер, что места здесь дикие и возможны всякие неожиданные происшествия. Тут кругом работают турки-контрабандисты, они же и бандиты. Если поручить им это дело...

— Но вы помните, что вы отвечаете. Но все же я узнаю о Проворове!

— О, будьте покойны, он останется жив, цел и невредим! Его только схватят бандиты, когда он отправится со мною, — я его уговорю, — на прогулку за город, и затем он будет посажен, связанный очень крепко, в уединенное место, и ему не дадут ни есть, ни пить до тех пор, пока он не скажет, где у него спрятаны документы. Вот и все!

— Опять глупость! — вырвалось у доктора, который, казалось, разгневался на этот раз.

— Но почему же глупость? Это средство давно испытано, и не было примера, чтобы оно не подействовало. Когда человек хочет кушать и в особенности пить, тогда он сделает все, что угодно, лишь бы ему дали кусок

хлеба и глоток воды.

— Это глупо! — повторил доктор Герман, — потому что опять основано на расчете чисто телесного, физического свойства. Когда вы поймете, что физическая пытка действительно только против людей с таким складом, как у вас, то есть грубо животным.

— Но, моя радость, мастер, вы ошибаетесь! Я очень деликатного склада.

— И все-таки вся ваша деликатность сводится к чисто животной чувственности. Ваш план нелеп, потому что, во-первых, Проворов не сдастся так легко живым вашим контрабандистам, а во-вторых, нет вероятия, что вы добьетесь от него чего-нибудь физической пыткой, если не добились ничего при помощи пытки нравственной, которую вы ему устроили соблазнительным танцем.

Тротото задумался и после продолжительного молчания развел руками.

— Но в таком случае что же делать? Я уж совершенно не знаю.

Доктор Герман, ходивший в это время по комнате, наконец повернулся к своему собеседнику.

— Надо, — сказал он, — изучить и узнать человека и обстоятельства, относительно которых приходится действовать. Знаете вы Проворова? Изучили вы его характер, привычки?

— Нет, я только бегло знаком с ним и изучать не имел времени.

— Ну, так дайте мне присмотреться к нему, а тогда я вам скажу, что делать.

V

На другой день Проворов получил записку на сильно надушенной бумаге, довольно странного содержания:

«Амур мечет свои стрелы, и сердце бьется, истекая алой кровью. Ежели помыслы Ваши так же чисты, как Ваши поступки, — сие Вам даст право на душевное вознаграждение. Приходите».

Дальше следовал адрес гостиницы и был указан час, когда нужно было постучать у определенного номера.

Гостиница находилась среди города, в людной его части, значит, опасности никакой не предвиделось: Проворову все равно было нечего делать, и он решил пойти.

В определенный час он явился в гостиницу, пропитанную запахом жареного лука и бараньего сала, и, поднявшись в коридор верхнего этажа, постучал в дверь с указанным номером.

«Будь что будет, — подумал он, — во всяком случае это занятно».

Подобные записочки и назначения свиданий были очень обычны в то время, и потому Проворова ничуть не удивило полученное им приглашение.

Но когда он, после того как на его стук ответили: «Войдите», — отворил дверь и очутился в низенькой комнатке гостиничного номера, его удивлению не было пределов. Ему стало сразу и смешно, и обидно.

Пред ним восседала на софе в пышном ро-блоне и высокой пудреной прическе фрейлина Малоземова.

— Да, Серж, это — я, — приветствовала она, обмахиваясь веером, улыбаясь, закатывая глаза и кокетливо выставляя ножку на положенную перед нею подушку. — Вы не ожидали видеть меня?

Проворову невольно пришло в голову

сравнение этой расфранченной старой девы с той восточной красавицей, которая танцевала перед ним прошлой ночью.

— Нет, решительно не ожидал! — произнес он, не сознавая, то ли он говорит, что нужно.

— А между тем вот я, перед вами.

На взгляд Проворова, она постарела еще больше, чем была.

— Н-да, — неопределенно промычал он.

Все, что угодно, но уж Малоземову он никак не думал встретить в Бендерах!

— Для милого дружка семь верст — не околица, — сказала она. — Конечно, я могла бы рассказать вам, что я тут совершенно случайно, что я ехала мимо и вот по дороге заехала... или заблудилась, или вообще что-нибудь в этом роде... Но я, Серж, не умею лгать. А вам... разве я могу лгать? Я говорю вам правду, то есть скажу вам правду, потому что, Серж, я так невинна, что не умею лгать. Я приехала сюда, чтобы видеть вас. Да, чтобы нам встретиться, я сделала этот путь в действующую армию.

Сергею Александровичу стало неловко, и

он не знал, что ему надо было сделать или произнести на эту речь.

— Покорно вас благодарю, — сказал он, краснея от того, что сейчас же почувствовал, как это вышло глупо.

— Ах, нет, не благодарите! Не надо слов! — заявила Аглая Ельпидифоровна. — Будет лучше молчать и наслаждаться созерцанием... Или нет, — тут же подхватила она, как бы сама себя перебивая, — будем лучше разговаривать. У нас ведь так много что сказать друг другу... Я сделала огромное путешествие, чтобы увидеть вас, и не знала, как и где найду вас. Ах, это было ужасно! Я ехала день и ночь, то есть ехала днем, а ночью ночевала... и не знала даже, живы ли вы... Что я пережила! Это было ужасно. Ну вот, я приехала в Бендеры, где находится двор светлейшего. Здесь я думала разузнать о вас и все прочее. Я положила себе, что, чего бы мне ни стоило, я вас найду, хотя бы под Измаилом, который вы так храбро взяли. И вдруг — представьте себе — какое совпадение: здесь, в Бендерах, я узнаю, что Воронежский гусарский полк стоит именно здесь и что вы тоже тут со своим

славным полком. Ведь ваш полк покрыл себя неувядающей славой! Скажите, ваш полк покрыл себя неувядающей славой?

Проворов молчал.

«Как же мне теперь удрать отсюда и отделаться от нее?» — думал он.

А Малоземова между тем продолжала таторить:

— Ну, конечно, ваш полк покрыл себя славой вместе с вами; я уверена, что вы — герой, что вы ужасно какой герой! Скажите, вы много турок убили?

Сергей Александрович, пожав плечами, пробормотал:

— Право, не знаю.

— А я знаю, что много, наверно много, потому что вы — герой. Ведь я все знаю... я все знаю. Я только вчера приехала, так что не могла быть на приеме у светлейшего, но все знаю. Мне известно, что вас испытывали... как это сказать?.. Ну да, восточным соблазном...

— Что-о-о? — удивленно протянул Проворов.

— Ну да, я знаю, что перед вами танцевала

красивейшая женщина Востока — нечто вроде одалиски, так, кажется, это называется... и вы не обратили никакого внимания.

Сергея Александровича даже в жар кинуло. Откуда могла знать эта приехавшая только что из Петербурга придворная развалина то, что случилось с ним вчера? На миг у него даже мелькнуло сомнение, уж не эта ли фрейлина встречала его в виде вчерашней старухи со светильником? Но это показалось настолько несуразным, что он отогнал эту нелепую мысль.

«Очевидно, господин Тротото наболтал что-нибудь, вот и все», — сообразил он, успокаиваясь.

— Да, — продолжала Аглая Ельпидифоровна, — только влюбленный и сильно любящий человек может устоять перед таким соблазном. Мне ведь все известно, я знаю, кого вы любите, — и она, хитро улыбаясь, канальски лукаво взглянула на него из-за веера.

Сергей Александрович сидел как каменный.

— Понимаю. Вы скромны, как всегда. Но, Серж, знайте, что истинная любовь всегда до-

стигнет желаемого... всегда! Сильное чувство вызывает в любимом существе соответствующее... как бы это сказать? ну, одним словом, и так дальше... словом, вас ждет награда... за вчерашнее мужество или, вернее, доказательство вашей любви к предмету. Я все знаю! Мне известно даже, чего вам следует бояться... Вы знаете, чего вам нужно бояться?

«Знаю, да не скажу, — подумал Проворов. — Прежде всего тебя, матушка! »

— Вам нужно бояться козней ваших врагов, желающих во что бы то ни стало достать у вас документы, которые вы храните.

— Вот оно что! — проговорил Проворов. — О каких документах вы говорите?

— Я вам говорю, что знаю все. И больше всего вам надо бояться камер-юнкера Тротото, который — самый ужасный ваш враг, и доктора Германа, который стоит в этой самой гостинице. Но главным образом камер-юнкер Тротото желает достать у вас документы.

«Нет, значит, это не камер-юнкер разболтал ей. Что за странность? » — удивился Проворов и спросил:

— Откуда вы все это знаете?

— Я вам говорю, что все знаю, то есть все, что касается вас: сердце сердцу весть подает... Вчерашняя восточная пляска была устроена, чтобы, опьянив вас, заставить увлечься страстью, а затем обыскать вас и похитить документы. Должно быть, им очень уж нужны эти документы.

— Послушайте, Аглая Ельпидифоровна! — заговорил Проворов внушительно и серьезно. — То, что вы говорите, очень важно для меня. Поэтому прошу вас сказать, каким образом вы узнали об этих документах и об опасности, грозившей мне? Я вас очень прошу сказать мне: это важно для меня.

— Хорошо, я ни в чем не могу отказать вам — слыши-те? — ни в чем! Поймите это и сделайте прямой отсюда вывод. Все, что вы потребуете...

— Но я прошу только относительно документов.

— Только это? Хорошо, я расскажу вам. Вот видите, тут дело случая... Понимаете, случаем все-таки руководит Провидение. Так и это было нечто провиденциальное. Вчера я очень устала с дороги... у меня болела голова... неиз-

вестность о вас и прочее... ночью я рассердилась на Нимфодору...

— Кто это — Нимфодора?

— Ах, это — одна женщина... дама... она живет у меня... как это называется? Наперсница или просто приживалка. Их две у меня. Они гадают мне: одна — на картах, другая — на кофейной гуще... в дорогу я взяла одну с собой, ту, которая мне предсказала. Ах, Серж, вы знаете, она предсказала мне, что я буду счастлива!

— Вы говорили, что прогнали Нимфодору ночью?

— Да, прогнала, так как ничего иного не могла сделать; она, вероятно с дороги, храпела, как гром. Поразительно! Так вот, я прогнала ее, она вышла в коридор, но боялась ходить там в темноте в незнакомом месте. Она оделась и вышла на галерею, которая идет вокруг всего дома. Вы представляете себе?

— Да, да, представляю.

В гостинице, по образу всех богатых домов на Востоке, второй этаж был обнесен резной галереей, куда выходили окна из всех комнат. Летом эта галерея являлась постоянным ме-

стопробыванием всех приезжающих.

— Нимфодора вышла на галерею, — продолжала Малоземова, — и вдруг видит, из одного окна сквозь щели ставней идет свет! Это показалось ей подозрительным. Она подкралась, почти подползла к окну и припала к щели. У этой Нимфодоры прямо врожденная способность подглядывать и подслушивать. Она припала к щели и все видела и слышала.

— Да что ж именно видела и слышала? — воскликнул Проворов с нетерпением, так что Малоземова вздрогнула.

— Весь разговор доктора Германа с камер-юнкером Тротото, — поспешно пояснила она. — Они говорили по-французски, и хотя Нимфодора плохо понимает, но все-таки понимает, а чего не поняла, то догадалась чутьем... У этой женщины удивительное чутье, она гадает тоже великолепно. Я ей велела сегодня гадать на вас, и она говорит, что вам предстоит счастье, что венец ваших желаний достигнет блаженства, как говорят поэты. Ах, Серж!..

Фрейлина вздохнула, закатила глаза и склонила голову набок. По ее расчету, Прово-

ров должен был в эту минуту увлечься и сорвать с ее ланит или с уст горячий поцелуй. Но он предпочел спросить:

— Что же еще услышала Нимфодора? Ради Создателя, сообщите мне, потому что ведь это может грозить моей жизни!

— Да, Серж, тут дело идет о вашей жизни.

Аглая Ельпидифоровна передала все содержание разговора доктора с камер-юнкером Тротото и пояснила, что господина Тротото Нимфодора знала еще в Петербурге, а о докторе Германе разузнала сегодня с утра в гостинице.

— Так они желают присмотреться ко мне и затем действовать согласно обстоятельствам! — сказал Проворов. — Ну, хорошо же! Значит, мне надо как можно скорее уезжать и не дать этому доктору возможности составить ясное понятие обо мне и выработать план, как завладеть документами.

— Серж, — продолжала Аглая Ельпидифоровна, — доверие за доверие. Мне ужасно хочется знать, что это за документы у вас, которые так добиваются получить господин камер-юнкер и господин доктор? Вы мне може-

те сказать?

— Разумеется! — ответил сейчас же Проворов без малейшего колебания. — Эти документы касаются наследства, которое я должен получить со временем. Ну а доктор Герман, очевидно, желает воспрепятствовать этому, чтобы наследство досталось тому лицу, которому он покровительствует.

— Кто же это лицо?

— Не знаю, это — для меня тайна.

— Ну а при чем же тут камер-юнкер?

— А просто помогает доктору за деньги.

— Да, деньги, деньги! — вздохнула Аглая Ельпидифоровна. — Но только как же это так? Я только что приехала, и вдруг вы говорите, что уезжаете... сейчас же?

— Я и без того хотел воспользоваться временем зимних квартир, — пояснил Проворов, — и уже просил отпуска, чтобы съездить в Петербург немного освежиться.

Он и в самом деле подал рапорт об отпуске, как только кампания была закончена и стало известно, что полк идет на зимние квартиры; но в Петербург он ехал для того, чтобы отвезти туда оставленные ему Чиги-

ринским документы. Конечно, он не считал нужным говорить об этом Малоземовой, равно как и посвящать ее в то, что бумаги были масонские. Поэтому он дал ей первое пришедшее в голову объяснение о наследстве.

— Но как же я останусь здесь? — с отчаянием в голосе спросила Аглая Ельпидифоровна.

— Ну, что ж такое, поедемте назад вместе, — предложил вдруг храбро Проворов.

— А в самом деле, — подхватила, обрадовавшись, Малоземова, — у меня дормез очень покойный, и к дороге я уже привыкла, а вы меня будете эскортировать... О, с вами я не буду ничего бояться!

Само собою разумелось, что такая невинная девица, каковою была фрейлина, не могла предложить молодому человеку место в своем экипаже. Но Сергей Александрович и не желал. Сопровождать же в виде защитника госпожи Малоземовой в пути, едучи в отдельном экипаже, он, конечно, мог. Условия светских приличий разрешали это.

VI

Отпуск был получен Проворовым очень легко, и он немедленно принялся за приго-

товление к отъезду. Фрейлина Малоземова тоже стала собираться. Ее сборы были недолгие, потому что, в сущности, она была еще на пути и, едва приехав в Бендеры, не могла успеть разложить свои сундуки и баулы. Во время этих сборов Проворов неожиданно высказал большую предупредительность по отношению к фрейлине и постоянно виделся с нею, к ее вящему удовольствию. Вследствие этого она, приехав ради него «на край света», с радостью снова готова была сделать только что совершенный ею огромный путь.

Приготовления к отъезду делались по возможности втайне, но тому, кто неусыпно следил за Проворовым, то есть Тротото, стало известно все до малейшей подробности. Камер-юнкер заволновался, кинулся к доктору Герману, но оказалось, что тот неизвестно куда уехал, хотя номер в гостинице оставил за собою, сказав, что скоро вернется.

Наконец, накануне назначенного дня отъезда Проворова и фрейлины Тротото застал доктора у него в комнате.

— Радость моя, что вы делаете! — воскликнул он, вбегая. — Ведь вы обещали следить за

молодым человеком и изучить его, чтобы поступить сообразно обстоятельствам, и вдруг исчезаете. А знаете ли, что случилось? Конечно, дела, по которым вы отлучались, вероятно, очень важны и спешны, но все-таки нельзя же так оставлять и это дело, которое тоже очень важно. Вы ведь и не знаете, что случилось, и опоздай вы на один день...

— Ничего еще особенного не случилось, — спокойно проговорил доктор. — Правда, Проворов с фрейлиной Малоземовой уезжает завтра, но ведь он еще не уехал.

— Вы это знаете? — удивленно переспросил Тротото, разводя руками. — Но в таком случае вы все знаете!

— Да больше-то и знать нечего, — улыбнулся доктор, — уезжают, и все тут.

— Но ведь он уезжает, чтобы увезти документы.

— Вот именно. Значит, остается нам рассудить, как он повезет документы, чтобы иметь возможность перехватить их.

— Но как же вы говорите «рассудить»? Разве это можно рассудить? Это нужно узнать, попытаться, а до завтра это сделать нельзя —

времени осталось слишком мало.

— Времени у нас осталось больше, чем нужно. Все это может быть решено нами немедленно, только надо рассудить логически. Как вы думаете, почему такой молодой человек, как Проворов, вдруг вызвался ехать со старой фрейлиной?

— Не знаю, этого вопроса я не задавал себе. Да, это действительно странно. Ведь если бы почтенная Аглая Ельпидифоровна слыла за богатую женщину, то было бы ясно, что он увивается за ее деньгами; но, насколько известно, никто ее богатую не считает. Или, может быть, у него извращенный вкус, и он просто влюбился в нее?

— В эту Аглаю Ельпидифоровну?!

— Да, это невозможно, — подумав, согласился Тротото. — Невозможно, чтобы он обратил внимание на девицу Малоземову, после того как отверг такую прелестную восточную женщину, как та, которая танцевала перед ним.

— Так, значит, почему же он собирается с нею в дорогу?

— Не знаю и ума не приложу.

— Да потому, очевидно, что хочет спрятать у нее свои документы. Он рассчитывает, что за ним могут следить, что в один прекрасный день могут обокрасть его, а фрейлина Малоземова довезет документы в сохранности, потому что никто не догадается, что они у нее... Поняли?

— Понял. Знаете, моя радость, это гениально! И вот это вы сообразили такую комбинацию? Мне бы никогда не пришло это в голову. Но и Проворов хитер. Что же теперь вы думаете делать?

— Нужно обратить главное внимание во время их путешествия на вещи госпожи Малоземовой. Документы будут в ее вещах.

— Да, это очевидно. Но только, знаете, этот Проворов хитер лишь на первый взгляд, а если разобрать, то он действует неосмотрительно.

— Почему?

— Да как же, моя радость! Согласитесь, если он посвящает в тайну такую особу, как Аглая Ельпидифоровна, то это очень неосмотрительно с его стороны. Она не утерпит, чтобы не сказать хотя бы своей приживалке, как ее

там зовут...

— Нимфодорой.

— Вы и это уже знаете?.. Поразительно! А если узнает Нимфодора, тогда узнает весь свет. Разве так можно держать секреты?

— Но я думаю, что ни Нимфодора, ни сама Аглая Ельпидифоровна ничего не будут знать.

— Как же это так? Вот я опять становлюсь в тупик, моя радость.

— Насколько я могу судить о Проворове, он, вероятно, рассчитывает найти возможность подсунуть пакет с бумагами в вещи Малоземовой так, чтобы она сама этого не знала, куда-нибудь в ее дормез или в один из баулов, и затем следить за целостью тайника, что ему легко будет сделать, так как он неотлучно будет следовать за экипажем старой фрейлины.

— Значит, нужно будет следовать за ними и перехватить пакет?

— Нет, мы поедем впереди. Они выедут завтра, а моя берлина готова везти нас сегодня.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

I

Тротото выехал вместе с доктором Германом в его берлине из Бендер по дороге к северу.

Камер-юнкер не понимал хорошенько, зачем они выехали впереди тех, за кем им надобно было следить. Он очень боялся, что они попадут впросак и что Проворов с Малоземовой, узнав, что они выехали, изменят свои планы и останутся в Бендерах. Но как ему ни хотелось получить ответ на мучившие его сомнения, он боялся надоедать доктору с вечными вопросами и требованиями объяснений.

К тому же высокая степень великого мастера, которою был облечен доктор, уверенность, с которою тот говорил и делал все, и его соображения событий, казавшиеся Артуру Эсперовичу гениальными, внушили ему такую веру в Германа, что он готов был беспрекословно подчиняться ему. Вот только любопытство мучило камер-юнкера, но он знал, что доктор Герман не любил любопытных.

Они ехали без всяких объяснений на север в течение целых суток, покинув Бендеры утром, и к вечеру второго дня свернули с большой степной дороги в сторону. Доктор продолжал хранить молчание. Тротото боялся спрашивать его.

Берлина, прокативши недолго по проселку, въехала на большой двор господской усадьбы, обнесенной со всех сторон каменной стеной с бойницами и башнями по углам. Длинное одноэтажное, тоже, видно, приспособленное к защите на случай вооруженного нападения здание служило господским домом. Ворота распахнулись перед берлиной, и двое вооруженных с головы до ног людей в восточном одеянии затворили их за нею. Экипаж подъехал к крыльцу, но никто не вышел навстречу.

Доктор сам довольно легко отворил дверцу и с ловкостью молодого человека спрыгнул на землю, вовсе не заботясь о том, что некому было откинуть подножку. Спрыгнув, он помог камер-юнкеру тоже сойти.

Тротото последовал за доктором, который шел, видимо, отлично зная дорогу. Через про-

сторные сени они вошли в большую прихожую, где не было ни души. Здесь они сняли верхнее платье, затем миновали длинную горницу с колоннами, очевидно зал, потом прошли через две гостиные: одну — в чисто французском стиле «помпадур», другую — в восточном вкусе, и очутились в столовой. Комнаты были хорошо натоплены и освещены масляными лампами.

В столовой по стенам на полках стояла богатая серебряная посуда. Большой камин в виде массивного очага приветливо пылал, а против камина был накрытый на два прибора и уставленный всякими яствами и питьями стол с высоким канделябром посередине. Восковые свечи канделябра были зажжены и разливали тонкий аромат курения.

— Сядемте, господин камер-юнкер, и закусим с дороги, — предложил доктор. — Вероятно, вы проголодались?

— С большим удовольствием! — подхватил Тротото, не заставляя повторять приглашение и усаживаясь. — Но скажите, пожалуйста, где мы?

— У одного из молдаванских помещиков.

Хотите начать с чарочки настоящей польской старой водки? Она недурна... и закусить икрой, это возбуждает аппетит, — предложил доктор, как будто он только что распорядился, чтобы накрыли этот стол, а не приехал вместе с Тротото в берлине.

— Но откуда же у молдаванских помещиков такой вкус и такое богатство?

— Вкус — дело условное, что же касается богатства, то здесь, в Молдавии, встречаются такие крезы, как, например, князя Кантакузены, у которых в приемных комнатах стоят открытые мешки с золотом, и гости могут брать себе оттуда горстями, сколько им вздумаетсяnote 6.

— А мы случайно не у князя Кантакузена? — спросил Тротото, внимательно оглядываясь, словно ища глазами, нет ли где-нибудь открытых мешков с золотом.

— Нет, мы случайно не у князя Кантакузена.

— А хорошо бы сделать ему визит. Ведь вежливость требует этого.

— Нет, Артур Эсперович, визита к князю Кантакузену мы не сделаем, и нам придется

довольствоваться этим скромным ужином.

— Но, моя радость, этот ужин — вовсе не скромный, напротив, он великолепен... Здесь все, как в сказке! Я только боюсь, что, пока мы тут благоденствуем, наши птички, за которыми мы охотимся, улетят!.. Что за странная идея явилась у нас отправиться впереди дичи вместо того, чтобы следовать за ней по пятам!.. Понять не могу это!

— Уж видно, такая ваша доля — ничего не понимать и ждать объяснения для всякого пустяка.

— Ах нет, радость моя! Когда мне хорошо растолкуют, я всегда отлично пойму. Скажите мне, зачем мы уехали вперед? Ведь они могут остаться в Бендерах.

— Навсегда?

— Нет, не навсегда, но, положим, на очень долгое время.

— Тогда и мы пробудем здесь это долгое время и подождем, пока они приедут сюда.

— А если они не приедут?

— Не могут не приехать. Куда бы они ни двинулись из Бендер, если только не хотят попасть к туркам, то должны проехать по

этой дороге и остановиться здесь.

— Даже остановиться здесь? Это каким образом?

— Ну, это — мое дело!

— Конечно, это гениально, но, радость моя, доктор, позвольте считать, что на этот раз вы не правы. Все-таки безопаснее было ехать за ними, как я сказал, по пятам и не терять их из виду.

— Но если мы не теряли бы их из виду, то и они должны были бы видеть нас, приняли бы свои меры, и мы, что называется, спугнули бы их. Всякий, за кем следят, очень чутко относится к тому, что происходит сзади него, и почти никогда не обращает внимания на то, что делается впереди.

— Опять, моя радость, я должен признать, что и это соображение гениально, как и все ваши остальные. Когда же можно их ждать?

— Сегодня ночью.

— Так скоро?

— Да, они едут скорее нас, на переменных, тогда как мы ехали на своих, с двумя подставами только.

— Позвольте, вы говорите мы ехали «на

своих», но значит ли это, что вы тут — хозяин, и я имею честь быть у вас в гостях?

— Догадка ваша не лишена справедливости. Да, я тут — хозяин, и вы у меня в гостях.

— Очень приятно, доктор, — воскликнул Тротото. — Я поднимаю бокал за ваше здоровье!

— А я — за ваше!

II

Тротото довольно много пил и ел за ужином и вследствие этого ему спалось тяжело. После ужина сам доктор отвел его в спальню, обставленную со всеми удобствами, и сказал ему:

— Вот что, Артур Эсперович, запирайте вашу дверь на ключ и оставайтесь тут до тех пор, пока я приду к вам.

— Но, моя радость, а если мне будет скучно? — поморщился и спросил Тротото.

— Что делать — поскучайте!.. Впрочем, лягте спать и постарайтесь хорошенько заснуть — во сне скучать не будете. Так или иначе, вам необходимо быть в заключении, пока я приду, а то Проворов, или Малоземова, или Нимфодора могут увидеть вас, и тогда все

дело будет потеряно: они догадаются, что попали в ловушку.

— Но вас ведь они тоже могут увидеть, и тогда тоже догадаются.

— Меня они не увидят, будьте покойны. Уж вы только не показывайтесь никуда из своей комнаты.

Доктор простился и ушел, а Тротото запер дверь и лег спать на большую кровать под балдахином.

Но легко было доктору сказать: «Постарайтесь заснуть», — сделать же это оказалось гораздо труднее. Новое ли место было тому причиной, непривычная ли обстановка или съеденный обильный ужин и, главное, выпитое вино, — но только Тротото ворочался на мягкой постели и все время чувствовал самого себя, свое тело. Сердце билось и в виски стучало, и если он забывался дремотой, то ему чудились совсем несуразные нелепости: он видел себя великим магистром, у которого в животе устроена водяная мельница с неповорачивающимся жерновом, а фрейлина Малоземова дразнила его по этому поводу из-за спины Проворова документами.

Среди ночи он слышал на дворе возню и шум. Там раздавались говор и брань, очевидно, кучеров и конюхов. Тротото понял, что, должно быть, приехала Малоземова с Проворовым и что случилось все именно так, как предполагал Герман. Он даже встал с кровати и, подойдя к окну, приподнял штору, чтобы посмотреть, что делается на дворе, но окно снаружи было плотно затворено ставней, и решительно ничего не было видно. Артур Эсперович ограничился тем, что поправил масляный ночник, горевший в комнате, и, снова легши спать, впал в почти бредовое забытие.

Вдруг он вскочил. На этот раз на дворе кричало много голосов, топали, суетились и бегали. Сначала ничего нельзя было разобрать, потом камер-юнкер явственно различил испуганные крики:

— Пожар, пожар!

Он заметался по комнатам и не сразу сообразил, что естественнее всего кинуться к двери, чтобы спастись от угрожающей опасности. Однако дверь оказалась запертой на ключ снаружи. Тротото пробовал потрясти ее, но безуспешно: сделанная из массивного ста-

рого дуба, она была крепка, как железная. На дворе продолжали бегать и кричать. Тротото стал неистово стучать в дверь кулаками и ногами и орать во все горло:

— Пожар, на помощь, на помощь, человек погибает! Кулаков и ног ему показалось мало, и он схватил стул и принялся колотить стулом. Его заперли на ключ и теперь в суматохе пожара, очевидно, забыли о нем... он тут сгорит, задохнется в дыму. Ему казалось уже, что он испытывает предсмертные муки, что последний его час пробил.

Между тем крики на дворе затихли: там, по-видимому, успокоились и перестали бегать. Тротото тоже перестал стучать в дверь и подошел к окну. На дворе уже смеялись — хохот доносился очень определенно, — затем поговорили еще и разошлись.

«Очевидно, была фальшивая тревога», — сообразил несчастный камер-юнкер, обливаясь потом от избытка волнения и от физической усталости после упражнений со стулом.

— Ну, ночка! — произнес он вслух сам себе. Убедившись, что на дворе все тихо, он опять прилег, но его глаза открывались помимо его

воли, и он вглядывался в полусумрак едва освещенной ночником спальни, не без труда следя за мелькавшими одна за другою бессвязными мыслями:

«Ну, хорошо, что была напрасная тревога, — думал он, — но кто поручится, что сейчас не вспыхнет настоящий пожар? А что будет тогда? Моего стука никто не слышал и никто не явился ко мне, а я заперт. Кто имел право запереть меня? Если этот доктор Герман — великий магистр, то все-таки он не имеет права запираить меня на случай пожара... А вино у него великолепно! Что правда, то правда! Но вино — вином, а я не хочу стогреть вместе со всем домом, да и вообще не хочу быть под ключом. Я, наконец, имею придворное звание... Что он, в самом деле, думает?.. Не хочу быть под замком!»

Тротото встал, решительно направился к двери, постучал и прислушался. Полное безмолвие было ему ответом.

— Ах, если так! — вдруг крикнул камер-юнкер во весь голос и только что собрался снова приняться колотить в дверь, как она отворилась и на ее пороге показался Герман.

Доктор не мог сдержать искреннюю улыбку при виде зрелища, которое являл собою господин камер-юнкер, стоявший с поднятыми кулаками в полотняном спальном халате и в ночном колпаке.

— Что с вами? Тише! — произнес он успокоительно. Доктор был в своем черном обыкновенном кафтане и, по-видимому, не раздевался и не ложился спать с вечера. При появлении Германа Тротото сразу стих и даже как будто сконфузился.

— Я ничего, — бормотал он. — Меня тут случайно заперли, а между тем нам угрожала опасность пожара.

— Да, да, в самом деле, — протянул доктор, входя. — Только я могу успокоить вас, никакой опасности не угрожало.

Он сел в кресло и положил ногу на ногу, как человек, собирающийся начать разговаривать.

— А пожар? — спросил Тротото.

— Я сейчас объясню вам.

— Дело в том, что я и сам сообразил, что все это была фальшивая тревога.

— Давшая возможность получить доку-

менты.

— Что вы говорите? Документы получены вами?

— Вот они! — И доктор, вынув из кармана пачку документов, перевязанных черным шнуром, положил их на стол перед удивленным Тротото.

— Каким образом вы достали это и как помогла вам тут фальшивая тревога пожара? — воскликнул тот. — Я ничего не понимаю.

— А между тем это так, — ответил доктор. — Фрейлина Малоземова приехала ночью в сопровождении Проворова, как я и ожидал.

— Почему вы знали, что они приедут, и ждали их?

— Мой милый Артур Эсперович, это произошло просто: стоило только подкупить бравых молдаван, везших дормез фрейлины, и на повороте с большой дороги к моей усадьбе колесо в дормезе оказалось настолько ненадежно, что явилась настоятельная необходимость заехать куда-нибудь для его исправления. Ну, конечно, фрейлина Малоземова отдала предпочтение скромному жилищу ино-

странца-помещика, европейца, и вот она у меня в гостях вместе с кавалером Проворовым.

— Гениально! — воскликнул Тротото. — Но документы, документы... Как вы достали их?

— Если вы помните, для этого необходимо было прежде всего узнать, куда их прячет Проворов. Ну, как только Малоземова и ее кавалер стали располагаться у меня на ночлег, на дворе была поднята тревога пожара. Проворов стремглав кинулся из дома к дормезу и открыл место, где у него были спрятаны документы... представьте себе: просто-напросто в привязанном бауле сзади кузова.

Тротото закатил глаза под лоб и еще раз воскликнул:

— Гениально!

— Проворов успокоился, узнав, что тревога оказалась фальшивою, — я очень извинялся перед ним за беспокойство, — и велел перенести баул в отведенную ему комнату, где он спит теперь крепким сном.

— Понимаю!.. Достать документы из баула было делом одной минуты, и они у вас!

— Вы замечательно догадливы, Артур Эс-

перович.

— Ну еще бы! Вероятно, Проворов спит не без данного ему в питье средства... Что вы ему дали?

— Ну, это к делу не относится. Теперь речь должна идти о вас.

— Обо мне? — удивился Тротото. — Но при чем же тут я, радость моя?

— Ну как же! Ведь документы достали вы.

— То есть как это — я? Этого я тоже не пойму хорошенько.

— Само собою разумеется. По некоторым соображениям я не хочу, чтобы знали, что это дело — моих рук, и уступаю всю честь успеха вам.

— И дадите знать в ложе, что я спас братьев от серьезной беды?

— Вот именно, и надеюсь, что братство не оставит без внимания ваших заслуг и наградит вас по крайней мере возведением в несколько высших степеней сразу.

— Доктор, чем мне отблагодарить вас?

— Ничем, только строгим исполнением своего долга.

— В этом отношении я весь к вашим услу-

гам.

— Отлично. Значит, вы оденетесь сейчас и поедете по направлению Петербурга.

— Зачем?

— Да чтобы как можно скорее отвезти документы. Я поручаю их вам самому доставить.

— В Петербург?

— Нет, вы поедете отсюда лишь по направлению Петербурга, чтобы запутать свой след, а затем свернете в Австрию и через Германию отправитесь во Францию, где передадите документы братьям.

— Значит, вы отправляете меня за границу, даже в Париж? Но это восхитительно. Только, моя радость, как же средства? У меня личных средств не хватит.

— На первое время вы получите от меня, а затем я вам дам маршрут и указания, где вам будут выдавать все, что вам нужно.

— Но, моя радость, это чудесно. Я в восторге! Только как же это вы говорите, чтобы одеться и ехать? Вот видите, я что-то плохо спал эту беспокойную ночь, и мне хочется отдохнуть. Я засну до утра, а завтра с новыми

силами двинусь в путь. Это будет очаровательно!

— Господин камер-юнкер, вы поедете немедленно, иначе вам не видать документов, и я поеду сам вместо вас. Дело слишком важно, чтобы откладывать его!

— Ну зачем же, моя радость, такие крайние меры? Я только беспокоюсь насчет экипажа. Или вы дадите мне свою берлину?

— Вы поедете в бричке Проворова.

— А он сам?

— О нем не беспокойтесь: это будет мое дело.

— Но вы намекали насчет денег и подорожной, то есть маршрута.

— Все уже готово. Когда вы оденетесь, я передам вам портфель со всем, что нужно.

Менее чем через час после этого из ворот усадьбы выехала бричка, и в ней сидел закутанный в салоп Тротото.

III

Отъезд Артура Эсперовича совершился настолько негласно, что никто в доме не знал, кто именно отправился в бричке. Впрочем, никто и не видел, как Герман привез ка-

мер-юнкера накануне, потому что никто не встречал их. Даже поднявшаяся с петухами Нимфодора могла узнать лишь, что сопровождавший их экипаж-бричка уже отправилась в дорогу, а так как она не могла предположить, что в бричке уехал кто-нибудь другой, кроме Проворова, то была уверена, что именно он и поспешил вперед. Она в свою очередь поспешила разбудить госпожу Малоземову, и та, узнав, что брички уже нет, заторопилась ехать, тем более что ей доложили, что теперь колесо дормеза в полной исправности и доедет хотя бы до самого Петербурга без всякой починки.

Малоземова велела очень благодарить гостеприимного хозяина, давшего ей приют, и извиниться перед ним, что она столь стремительно уезжает. Одного лишь не могла она понять: почему Проворов, не сказав ей ни слова, так вдруг уехал и что это могло значить? Но так как она, как все люди, которым не везет в жизни, способна была всегда фантазировать в сторону благополучия, то у нее сейчас же явилось соображение, что молодой человек, очевидно, полетел вперед, чтобы

приготовить ей достойное помещение на следующей остановке, где, вероятно, и подождет ее. И, убаюканная мечтой о близкой встрече, старая фрейлина катила вперед, давая возницам на водку, чтобы они везли ее как можно скорее, и не подозревая, что с каждой минутой все более и более удаляется от Проворова.

Первый переезд был сделан ею так быстро, как только это позволял сделать тяжелый дормез, который лошади тащили изо всех сил. Сидя в экипаже, Аглая Ельпидифоровна при помощи Нимфодоры тщательно занялась своим туалетом, так что, когда она прибыла к остановке, она уже была и набелена, и нарумянена, и трехэтажный парик плотно сидел у нее на голове.

Для ее приезда действительно тут все было готово, комната устлана ковром и целый ряд обдуманых мелочей был устроен заботливой рукой. Все было так тонко и внимательно обдумано, что Малоземова не могла не прийти в восхищение и удивлялась только, откуда молодой офицер мог быть таким хозяйственным.

— О да, это будет идеальный муж! — вос-

торженно решила Аглая Ельпидифоровна.

Впрочем, ее восторженности пришлось сейчас же сократиться, так как на ее вопрос, где же молодой человек, приехавший в бричке и распорядившийся всем этим, ей ответили, что он уже отправился дальше, чтобы на следующей остановке, как он сказал, так же все приготовить для нее.

— Ах, как это мило! — сказала Малоземова Нимфодоре. — Ты понимаешь, какая нежная заботливость и какая деликатность! Он не хочет быть назойливым, он боится помешать мне, скомпрометировать девицу, и вот скачет вперед, чтобы оставить следы, отравленные нектаром амура, или что-то в этом роде, как говорят поэты. Ах, Нимфодора, какое счастье любить и быть любимой!..

Аглая Ельпидифоровна не задержалась на остановке и устремилась дальше, надеясь на следующей увидеть Проворова. И там все было готово для нее, даже пудра, но ей опять сказали, что молодой человек, распорядившись всем, уехал вперед.

Малоземова плакала от умиления и, сменив почтовых лошадей, отправилась в ноч-

ной переезд, оплатив нарочных с фонарями. Она уже привыкла спать в дормезе и рассчитала, что Проворов, вероятно, остановится на ночлег, и таким образом она его догонит.

Однако, как ни привыкла Малоземова, ночной переезд был совершен ею не так-то уж легко, и наутро, подъехав к станции, она опять узнала, что тут все готово к ее приему, и молодой человек ночью укатил в бричке.

Это показалось уже столь поразительно, что Аглая Ельпидифоровна всплеснула руками и сделала вид, что упала в обморок. Но, быстро очнувшись, она немедленно потребовала лошадей.

Таким образом, в течение трех суток продолжалась эта погоня Малоземовой за бричкой, и наконец на четвертые утром она узнала, что ехавший в бричке молодой человек, очевидно, настолько изнемог от усталости, что дальше ехать уже был не силах и спал крепким сном в станционном помещении, за перегородкой, откуда доносился нежной фистулой его храп.

— И храпит-то как восхитительно! — шепнула фрейлина Нимфодоре, — не то, что ты,

когда примешься заворачивать!

Она была в восхищении, что добилась, наконец, своего, и немедленно отправилась в дормез делать свой туалет, распорядившись, чтобы был приготовлен завтрак. Ее особенно тешила мысль, что вот сколько времени он готовил все для нее, а теперь проснется и найдет завтрак, оборудованный ее попечением. Они сядут за стол и будут кушать вместе.

Аглая Ельпидифоровна не велела будить молодого человека и приказала доложить ей, когда он проснется и встанет, причем строго-настрого запретила сообщать ему, что она здесь. Она хотела сделать Проворову сюрприз.

IV

Проснувшись, Тротото с удовольствием потянулся в сознании, что первая часть возложенной на него доктором Германом задачи была выполнена и закончена. Он действовал относительно Малоземовой согласно точным указаниям, данным ему доктором, готовил все для нее на станциях и стремглав летел день и ночь. Эта остановка была последней, и отсюда он должен был свернуть в сто-

рону от тракта на Петербург, по дороге на Варшаву, чтобы ехать за границу.

По расчету, Тротото должен был сильно опередить Малоземову, от которой, конечно, трудно было ожидать, что она сможет также ехать день и ночь. Конечно, он был рад теперь, что мог разделаться с ней и свернуть с пути, оставив ее на произвол судьбы, завезя ее достаточно далеко, чтобы она не скоро могла вернуться назад. Все это было обдуманно и предначертано доктором Германом.

Вымывшись и переодевшись, Тротото обрадовался, когда ему сказали, что его ждет завтрак. Он вышел, потирая руки, в общую комнату станционного помещения и вдруг весь съежился, увидев за накрытым для завтрака столом нарумяненную и накрашенную Аглаю Ельпидифоровну, томно улыбающуюся ему навстречу.

При виде его лицо ее, как внезапно увядший цветок, изменилось и глаза беспомощно, растерянно забегали.

— Ах, это — вы!.. То есть как же это вы? — заговорила она. — Ах какая неожиданная встреча!.. Вот гора с горой не сходятся, а чело-

век с человеком — всегда! — И она, с надеждой во взоре обернувшись, посмотрела, не идет ли сзади него тот, кого она ждала.

— Ах, моя радость, Аглая Ельпидифорона! — расшаркиваясь и раскидывая руками, очаровательно-сладким голосом, певуче произнес Тротото. — Позвольте и мне со своей стороны выразиться в том смысле, что эта поистине неожиданная и вместе с тем высокоприятная встреча удивительна. Я совершенно не ожидал встретить вас... Так это ваш дормез стоит во дворе и был виден мною из окна?

— Да, это — мой дормез! — окончательно теряясь, пролепетала Малоземова. — Вы, значит, выехали почти вслед за мной из Бендер?

— Да!

— И вместе со мной выехал в бричке, которая тоже стоит на дворе, Сергей Александрович Проворов. Он, вероятно, здесь, раз его экипаж тут. Вы его не видели?

— Ах, моя радость, Аглая Ельпидифорона, — размахнул опять руками Тротото. — Тут нет никакого Проворова! Мы с ним переменились экипажами, и в этой бричке приехал я.

— Ка-а-а-ак вы? — взвизгнула, забывая всю

свою жеманность, старая фрейлина. — Позвольте... а эти приготовления, которые я встречала на всех предыдущих остановках?

— Эти приготовления делал я.

— Для меня?

Тротото потупился и помотал головой.

— Радость моя, Аглая Ельпидифоровна, здесь произошло роковое недоразумение. Приготовления эти я делал для француженки, которую светлейший отправил в дормезе из Бендер, а меня просил ехать впереди.

Он соврал первое, что ему пришло в голову, чтобы только как-нибудь разделаться с этой историей.

— Но Проворов... где же Проворов? — воскликнула Малоземова.

— Он, должно быть, остался у молдаванского помещика, где мы все ночевали четверо суток тому назад.

Аглая Ельпидифоровна, только теперь почувствовав всю остроту разочарования, поняла весь ужас того, что она, фрейлина Малоземова, беспорочность которой не могли оспаривать даже завистники, пользовалась приготовлениями, сделанными для какой-то

француженки. Время было упасть в обморок, и она не преминула сделать это.

У Тротото в кармане всегда была на случай дамских обмороков нюхательная соль. Он стал делать вид, что приводит Аглаю Ельпидифоровну в чувство, а она сделала вид, что очнулась от обморока.

— Ах, какое недоразумение, какое недоразумение! — повторял Тротото, увидев, что Малоземова открыла глаза.

— Да как же вы переменялись бричкой-то? — спросила она.

— Совершенно непостижимо! — стал объяснять он, путаясь. — Я, собственно, совсем не хотел, но как-то это так вышло... Да, насколько помню, Проворов купил коляску у помещика... то есть, собственно говоря, помещик продал ему коляску... Ах, моя радость, Аглая Ельпидифоровна! — воскликнул Тротото, совершенно запутавшись. — И право, не знаю, что сказать вам... Так вышло — и конец!

Как ни была наивна и простодушна старая фрейлина, все же объяснение камер-юнкера показалось ей очень сомнительным. Какое-то смутное беспокойство зародилось у нее, и она

непременно решила попытаться у этого господина чего-нибудь более определенного.

Но тут она заметила, что Нимфодора делает ей из-за двери какие-то выразительные знаки, потрясая в воздухе руками и мотая головой. Фрейлина вспомнила, что эта приживалка была всему причиной, потому что у молдаванского помещика она подняла ее ни свет ни заря, сказав, что бричка уехала, и, вскипев против Нимфодоры, вскочила и направилась к двери.

Тротото воспользовался этой минутой и шмыгнул за перегородку, не соблазняясь даже завтраком. Он пошел, чтобы распорядиться о лошадях себе и, уехав как можно скорее за границу, оставить за собой всю эту историю с фрейлиной.

Аглая Ельпидифоровна, кинувшись к приживалке, топнула на нее ногой и сердито прошипела:

— Это ты все наделала!

Однако Нимфодора не испугалась, потому что, казалось, была так уже перепугана, что этот ее испуг не мог увеличиться больше. Продолжая махать руками и с трудом перево-

дя дух, она могла только выговорить:

— Благодетельница, пойдёмте отсюда в карету!.. Что я вам скажу-то!

Аглая Ельпидифоровна, расстроенная всем происшедшим, согласилась на ее предложение.

Нимфодора накинула фрейлине салоп, повлекла ее за собой и, только когда они были в дормезе и она захлопнула его дверцу, облегченно вздохнула, а затем не своим голосом, чуть слышно проговорила:

— Бежим отсюда как можно скорее... потому что ведь это — он... он!

— Кто он? — стала спрашивать Малоземова, ничего не понимая, но по слишком большому перепугу Нимфодоры чувствуя что-то неладное.

— Он... тот самый, — продолжала та, — которого я видела в гостинице, в Бендерах...

— Камер-юнкер Тротото?

— Ну да, он самый... Он разговаривал с этим черным доктором, и они злоумышляли против Сергея Александровича.

— А ведь в самом деле! — воскликнула фрейлина. — В самом деле, он собирался со-

вершать злодейские поступки... Ахти, беда!.. Ведь и в самом деле... Ведь он, злодей, ехал в бричке Сергея Александровича.

— В бричке, умереть сейчас, в бричке, — подтвердила Нимфодора.

— А когда я спросила его, откуда он взял этот экипаж, он стал путаться и нести такую околесицу, что ничего не разобрать. Теперь все понятно: мы ночевали в разбойничьем гнезде, они ограбили и убили мсье Проворова, а затем гнались за мной.

— Ах, страсти какие! — ужаснулась приживалка. Аглая Ельпидифоровна стала качаться в карете и, кидаясь от одного окна к другому, бормотать:

— Немедленно к полицеймейстеру... к совестному судье его!.. Где тут совестный судья? Дайте мне полицеймейстера! Я требую, чтобы его немедленно арестовали именем закона! Убийца! Грабитель!

Мало-помалу ее вопли перешли в истерику, она стала биться внутри стоявшей посреди двора кареты, так что отъезжавший в это время Тротото, которому успели подать лошадей, заблагорассудил лучше не идти к ней

прощаться и отбыть без соблюдения обычной вежливости.

V

Проворов спал очень крепко и очень долго. Сколько именно времени продолжался его сон, он не мог сразу сообразить проснувшись, потому что часы его остановились. В окно светили лучи склонявшегося к западу солнца — очевидно, было далеко за полдень.

Проворов стал припоминать, не без труда восстановив в своей памяти события: они ехали по большой дороге; в дормезе испортилось колесо; пришлось свернуть, и вот они в незнакомой усадьбе, где он теперь проснулся. А ночью была тревога пожара.

«Баул с документами!» — вспомнил он и, приподнявшись на постели, оглядел комнату.

Баул стоял у двери на том самом месте, куда он велел поставить его, когда его отвязали от экипажа и принесли в отведенную ему комнату. Он попросил у Малоземовой, с которой они стоворились ехать вместе, один из бесчисленных сундуков, облепывавших ее фундаментальный экипаж, для своих вещей, и спрятал туда вместе со своими вещами доку-

менты, надеясь этим лучше скрыть их. Он был уверен, что никто не догадается о его хитрости, и не подозревал, что доктор Герман был хитрее его и, сообразив сейчас же, в чем дело, объяснил все камер-юнкеру Тротото. Теперь баул стоял в его комнате, и Сергей Александрович был спокоен за документы.

Проворов принялся одеваться и надел как раз тот самый шлафрок, который был на нем тогда, много времени тому назад, в Царском Селе на дежурстве, когда вдруг перед ним неожиданно появился доктор Герман. Он почему-то вспомнил именно это, посмотрев на шлафрок, и, подняв голову, обомлел от удивления: перед ним так же неожиданно, как и тот раз, стоял доктор Герман.

Проворов протер глаза. Нет, ему не казалось: Герман стоял перед ним живой.

— Добрый день, — сказал доктор, — я вам говорю «добрый день», потому что утро давным-давно прошло и даже полдень прошел. Заспались вы!

— Но позвольте, — удивился Проворов, — каким образом вы вошли сюда? Я отлично помню, что запер дверь на ключ.

— Она и осталась запертой, как была.

— Но как же вы вошли?

— Через стену.

— Не морочьте меня, пожалуйста! Я отлично знаю, что через стену нельзя пройти человеку.

— Отчего же, если, например, в стене сделан потайной проход... вот как в этой? — И доктор, подойдя к стоявшему плотно у стены шкафу с книгами, надавил какую-то кнопку, и шкаф, бесшумно отодвинувшись, открыл замаскированное им отверстие в стене. — Я не виноват, — пояснил он, — что вы так задумались, что и не заметили, как я вошел.

— Но позвольте! — проговорил Проворов. — Откуда же вы взяли и почему вам тут известны потайные проходы в стенах?

— Потому что я тут — хозяин.

— Если б я знал это, то ни за что не согласился бы просить гостеприимства.

— Почему же так?

— Просто потому, что я боюсь вас. Я вам говорю откровенно, вот видите: я ничего не ел бы и не пил бы в вашем доме.

— А между тем сегодня ночью, вернув-

шись в эту комнату после напрасной тревоги, вы выпили приготовленный для вас стакан оршада, в котором было снотворное... не беспокойтесь, вполне безвредное: оно только заставило вас спать крепче и дольше. Этот сон подкрепил вас. Откровенность за откровенность.

— Да я вовсе не нуждался в подкреплении, я не просил вас.

— Но теперь, надеюсь, не раскаиваетесь, после такого хорошего отдыха?

— Я раскаиваюсь, что попал к вам. Да, раскаиваюсь, потому что знаю все... — вдруг выговорил Проворов, уже не владея своими словами и произнося их помимо своей воли.

Доктор стал серьезен.

— То есть как же это «все»? — переспросил он, хмуря брови. — Что вы, собственно, подразумеваете под этим?

— Я знаю все, — твердо повторил Проворов, решив, что если уж у него раз вырвалось это признание, то он скажет все, что знает. — Я знаю ваш разговор, который вы вели с неизвестным мне лицом в каюте незадолго перед штурмом Измаила.

Доктор опять улыбнулся, почти рассмеялся и ответил:

— Ну еще бы! Раз вы сидели рядом тоже в каюте, то, конечно, все слышали.

— А вы откуда знаете это?

— Но если вы «все» знаете, как говорите, тогда вам, значит, нечего спрашивать, а мне — вам рассказывать, если вы все знаете.

— Нет, я не подозревал, что вам было известно, что я сидел рядом, — несколько сконфуженно произнес Проворов и сейчас же, чтобы вновь приободриться, добавил: — Кроме того я знаю, о чем вы говорили с камер-юнкером Тротото в Бен дерах, в гостинице.

— Это после вашей поездки с ним к старухе, когда нас подслушивала приживалка госпожи Малоземовой?

— Вы и об этом осведомлены! — разочарованно протянул Проворов.

Вместо того чтобы ему, как он думал, порадовать доктора, выходило, что доктор поражал его.

— Да, этот господин камер-юнкер — очень легкомысленный человек, — сказал Герман, как будто все было очень просто и вполне

естественно.

— Не легкомысленный, а негодяй и предатель, способный на какое угодно преступление, — с негодованием воскликнул Проворов, — и то, что вы возитесь с ним, вовсе не рекомендует вас самого.

— Но если вам верно передала наш разговор приживалка госпожи Малоземовой, то вы должны знать, что я не одобрил предложенный — согласен с вами, очень гнусных, — господина камер-юнкера относительно вас, и поэтому он не привел их в исполнение.

— Все равно, порядочному человеку не надо было разговаривать с ним, раз он такой!

— Так что вы предпочли бы, чтобы я воздержался от разговора с ним, а он стал бы проделывать из-за угла над вами свои гнусности, до отравления включительно?

Проворову пришлось прикусить язык. Он не мог не почувствовать, что Герман прав и действительно оказал ему услугу, не позволив Тротото принять крепкие меры. Но все-таки ему не хотелось сдаться.

— Просто не следует даже быть с таким господином под одной кровлей, — сказал он.

— А между тем сегодняшнюю ночью вы ночевали с ним именно под одной кровлей.

— Камер-юнкер Тротото здесь?! — воскликнул Проворов, вскочив как ужаленный.

— Был здесь, — поправил доктор. — Я полагал, что вы знаете, что он уже уехал, и притом в вашей бричке.

— Как в моей бричке? А госпожа Малоземова?

— Она уехала вслед за ним ранним утром.

— Вот это мило!

— Милейший секунд-ротмистр...

— Я уже произведен в ротмистры.

— Поздравляю вас! Итак, милейший ротмистр, несмотря на ваше уверение, я вижу, что вы не только «все» не знаете, но даже, вернее, ничего не знаете!

— Да, того, что случилось сегодня ночью, я не знаю, потому что спал непробудным сном благодаря вашему снотворному.

— То-то я и удивился, когда вы сказали, что знаете «все».

— Да бросьте вы, пожалуйста, эти попреки! Заладили одно, в самом деле! Почему и каким образом уехал господин Тротото в мо-

ей бричке? Я желаю знать, как это могло случиться.

— Очевидно, он очень торопился, а другого экипажа не было.

— Странно... Куда же он торопился?

— Отвезти документы за границу.

— Документы? Какие документы?

— Массонские, пропавшие в свое время из великой ложи.

— Что вы говорите! Откуда же он взял их?

— Ему дал их я.

— Позвольте, тут что-нибудь да не так.

У Проворова все спуталось в голове. Одно было только ясно, что Герман был прав: он ничего не знал.

Сергей Александрович кинулся к баулу, открыл его и принялся перебирать вещи. Он быстро выкинул лежавшие сверху и стал шарить вниз. Не найдя того, что искал, он взялся снова за выброшенные вещи и нетерпеливо пересмотрел их, потом выпучил глаза и уставился на доктора Германа.

— Не трудитесь искать, — сказал тот спокойно, — пока вы спали, я вынул документы из баула, чтобы отдать их камер-юнкеру Тро-

ТОТО.

— Вы сделали это?

— Да, и гораздо спокойнее, чем вы теперь их ищете: не раскидывал так вещей.

— Но, позвольте, ведь это же — воровство! Вы зазываете меня к себе в дом, кладете в комнату с потайным входом, опаиваете меня сонным зельем, входите ко мне и тащите из моего баула документы. Ведь это — воровство, грабеж. Я буду жаловаться! Вы украли у меня документы! Герман, не торопясь, произнес ровным голосом:

— Вы настаиваете на словах «воровство» и «украли»!

— Да как же иначе назвать то, что вы сделали? — закричал Проворов.

— По-моему, я только вынул документы — выразимся более мягко, — похищенные из масонской ложи, вы, вероятно, знаете кем. Так что если уж говорить о присвоении чужой собственности, то нужно начать по справедливости с деяния, совершенного в ложе. Вы этого не находите?

Сергей Александрович молчал, чувствуя, что поставлен в тупик и что ему, по существу,

нечего ответить. Но от этого он нисколько не успокоился, а, напротив, сознав свою неправоту, только больше разгорячился.

— Все это может быть, и в известном споре вы сильнее меня, так как я университета не кончал и вашей казуистики не знаю, но только вот что скажу вам: документы я получил от приятеля, который умер и которому я обещал доставить их...

— В руки правительству или даже самой государыне.

— Может быть, и так!

— Благодарю вас за признание. Как хотите, но ведь вы же должны знать, какую опасность для нас, масонов, представляет ваше намерение поступить подобным образом. Значит, вы легко отсюда можете вывести заключение, насколько я доволен, что взял у вас эти документы.

— Но вы их мне отдадите.

— Если б я даже и хотел сделать это, то не мог бы, я ведь сказал вам, что их увез за границу камер-юнкер Тротото.

— Не может быть!.. Я этому не верю.

— Отчего же вы не верите? Напротив,

неблагоразумно было бы с моей стороны оставлять такую ценную вещь у себя.

— Все равно. Я требую, чтобы вы вернули мне бумаги.

— На каком же основании вы требуете?

— На том основании, что я так хочу.

— Слабое основание.

— Послушайте, доктор, я даю вам на выбор: или вы вернете мне бумаги, или кончите счеты с жизнью.

— Вы хотите убить меня?

— Нет, я только угрожаю вам смертью. Я хочу получить от вас документы.

— Совсем как камер-юнкер Тротото: он тоже ведь хотел убить вас, чтобы получить документы.

Проворов опять осекся. Опять слова доктора были справедливы, так что против них ничего нельзя было сказать.

— Камер-юнкера Тротото, — продолжал доктор, — я остановил от его безумного намерения...

— Но меня вы не остановите, и я вам повторяю: или верните документы, или готовьтесь к смерти!

— Но, молодой человек, почему же вы думаете, что я так поддамся вам и не буду защищаться? Отчего вы так уверены, что именно вы сильнее меня, а не я — вас?

— Может быть, защищаясь, и вы меня убьете, я не спорю... Что ж? Туда мне и дорога! Я щадить себя не намерен, но и вас тоже не пощажу.

— Поймите, будем говорить спокойно и разумно! Согласитесь, что если я должен убить вас, по-вашему, или, что, конечно, хуже, я буду убит, то, по крайней мере, я желаю знать хоть те основания, по которым я должен совершить преступление или расстаться с жизнью.

— Вы не совершите никакого преступления — вы будете защищаться.

— Это хорошо сказано, но все-таки не объясняет всего. Ведь если вы меня убьете, все равно вам несдобровать, так как придется отвечать за убийство. Вы у меня в доме, вас схватят, отправят к властям и так далее. Значит, видите, сколь неравны наши с вами положения: я не буду отвечать, даже в случае, если нанесу вам смертельную рану, а вам

предстоит выбор между смертью от моей руки и каторгой.

— Все равно, мне терять нечего.

— Но вы еще молоды, у вас вся жизнь впереди.

— Ничего у меня впереди нет.

— Как нет? А ваша служба? Вы так хорошо начали ее, вас ждут чины, ордена.

— Для кого и для чего? Это не может тешить меня.

— А вам непременно хочется жить для кого-нибудь?

— У меня никого нет. Был у меня друг, товарищ, но он убит, и вы хотите лишить меня возможности исполнить данное ему перед смертью обещание.

— Мало ли что у вас впереди!.. Вы встретите девушку, которую полюбите.

— Никого я не люблю. Понимаете, той, которую я люблю, не существует, это была мечта, и она разрушена, ее уж нет.

Проворов был в состоянии полного отчаяния. В эту минуту ему казалось, что все для него погибло, вся его жизнь была разбита.

После своей принцессы, которою, как ока-

залось, он грезил только во сне, он никого не мог полюбить, так как, хотя и во сне, она была столь прекрасна, что ни одна девушка наяву не могла сравниться с нею. Единственно, что заставляло его жить и действовать, была возложенная на него покойным Чигиринским задача — сохранить и доставить документы, но они были нагло и вероломно похищены, и этот доктор, нисколько не стесняясь, как будто дразня его, говорил об этом, словно в насмешку.

Сергей Александрович негодовал, обезумел от гнева и возмущения и с хитростью безумного нарочно тянул разговор, а сам в это время исподтишка высматривал, чем бы ему нанести удар этому Герману.

Вдруг он увидел в груди выброшенных из баула вещей небольшой турецкий нож, купленный им под Измаилом и понравившийся ему отделкой рукояти. В этот момент в глазах у него потемнело, и он, схватив нож, кинулся на доктора так, что тот, не ожидая этого, не успел даже отпрянуть и протянуть руки для своей защиты. Они покатались вместе на пол.

Некоторое время длилась безмолвная, со стиснутыми зубами, борьба. Проворов был сверху. Доктор не в состоянии был долго противиться ему. Сергей Александрович успел ранить его и чувствовал, как слабеет его противник. Парик доктора упал, лицо его изменилось и что-то знакомое мелькнуло в нем.

— Оставь! — прохрипел он. — Сумасшедший... я — Чигиринский!

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Проворов очнулся от забытья или глубокого обморока, в который он впал, и смутно стал припоминать, что случилось. Он лежал теперь на постели в другой, незнакомой ему, комнате, не той, где провел ночь и где произошел разговор с доктором Германом, кончившийся так неожиданно. Эта комната была больших размеров, но обставлена гораздо скромнее. Однако кровать, на которой он лежал, была очень удобна; все его вещи и малоземовский баул перенесены сюда и сложены у стены, против постели.

Очнувшись, Сергей Александрович долго

смотрел в потолок, совершенно не зная, что ему делать. Шевелиться он мог свободно, значит, нигде никакого повреждения он не получил, а если он нанес рану доктору Герману, то так тому и надо за все то, что он хотел сделать и сделал.

Но в ушах Проворова определенно и отчетливо звучали слова, произнесенные доктором Германом, назвавшим себя Чигиринским.

Труп, найденный после взятия Измаила и принятый за пропавшего без вести ротмистра, был обезображен до полной неузнаваемости, значит, если Чигиринский по каким-либо причинам нашел нужным скрыться, то сражение под Измаилом давало ему полную возможность сделать это.

Когда Проворов думал о приятеле безотнositельно к другим обстоятельствам, то готов был верить, что тот был жив, — главным образом потому, что ему хотелось в это верить. Но как только он это неожиданное появление как бы с того света своего приятеля ставил в связь с последними событиями, так получалась полная нелепость, и факты начинали противоречить один другому.

Доктор Герман и Чигиринский являлись одним и тем же лицом, и вся история с документами получала совершенно невероятное освещение. Герман хранил документы, а Чигиринский похитил их у него и старался скрыть, завещав ему, Проворову, доставить их во что бы то ни стало в Петербург. Затем масоны, среди которых один из главных был Герман, узнали, что документы у Чигиринского и старались всеми правдами, и в особенности неправдами, достать их, и наконец доктор добился своего при помощи совершенного им вероломства. Каким же образом после этого мог быть этот доктор одним и тем же лицом с Чигиринским? Но, разумеется, это — вздор, и раненый Герман проговорил свои слова только для того, чтобы он, Проворов, отпустил его. Очевидно, это была увертка, и она подействовала, потому что так ошеломила его, Проворова, что он впал в обморок, иначе для него необъяснимый.

Обдумав и разобрав все это, Сергей Александрович успокоился относительно Чигиринского, убедившись, что имеет дело с самым настоящим доктором Германом. Ни Ща-

дить, ни жалеть, ни церемониться с ним было нечего и так и надо было схватить нож и порешить с ним одним Ударом.

И Проворов с некоторым горделивым самоудовлетворением вспомнил, как этот отвратительный человек, смятый, хрипел под ним.

Что же теперь делать?

Прежде всего, конечно, встать и привести себя в бодрствующий вид.

Сергей Александрович стал одеваться, причем у него невольно мелькнула мысль, что вот он ранил, может быть смертельно, хозяина этого дома, а его тут так бережно уложили в постель в просторной, хорошей комнате.

Странно это было, но это соображение только мелькнуло у него и сейчас же заслонилося. В последнее время с ним происходило столько странностей, что на мелочи он уже перестал обращать внимание.

Одевшись, Сергей Александрович попробовал выйти из комнаты и отворить дверь, чтобы посмотреть, куда она ведет. Она вела в коридор, длинный и широкий, по одну сторону которого были окна, а по другую — двери.

Проворов перешагнул через порог, осторожно ступив, как бы пробуя, не провалится ли под ним пол. Но пол не провалился, и он беспрепятственно прошел по всему коридору. В конце коридора дверь была тоже не заперта, и, отворив ее, Сергей Александрович очутился в сенях, из которых был ход на крыльцо, на двор. Значит, он был на свободе и мог идти, куда хотел.

Проворов вышел на крыльцо и, поежившись всем телом, с удовольствием вдохнул холодный воздух.

Какой-то человек, видимо из здешних, проходил по двору и спокойно взглянул на него, как будто в том, что он вышел, не было ничего особенного. Сергей Александрович попробовал окликнуть его. Тот отозвался, но это был молдаванин, ни слова не понимавший по-русски, улыбавшийся и пожимавший плечами на все обращенные к нему по-русски вопросы.

«В доме как будто ничего не случилось; ведь если бы хозяин был серьезно ранен, этот человек вел бы себя со мной совсем иначе!» — подумал Проворов и, вполне довольный

своей рекогносцировкой, пошел назад.

Но когда он вернулся в коридор, то заметил, что все двери были одинаковы, и которая из них вела в комнату, где он только что лежал и где были его вещи, он распознать не мог. Однако он помнил, что его комната была в другом конце коридора, и пошел туда.

Подходя, Проворов издали увидел, что третья дверь от конца была настолько приотворена, что в нее были видны и кровать, и его вещи, так что он уже не мог ошибиться комнатой. Между тем он отлично помнил, что, уходя, плотно запер дверь, которая даже щелкнула при этом. Он положительно помнил, что это было так, а между тем дверь оказалась отворенной, значит, пока он ходил, тут кто-то был. Это произвело на Проворова жуткое и неприятное впечатление. Но в комнате все было цело и оставалось на прежних местах.

II

Сергей Александрович взглянул на стол, увидел, что на нем стоит большой серебряный поднос с графином вина, большим стаканом и тарелкой очень аппетитных и разнообраз-

разных бутербродов. Первым его движением было взять и начать есть. В последние сутки он почти только спал и ничего не ел. Но, едва протянув руку к подносу, он снова отдернул ее, вспомнив, что в питье, которое было поставлено ему на ночь, было налито снотворное, как в этом признался сам доктор Герман. Если в питье ночью было снотворное, то весьма вероятно, что и теперь, после всего случившегося, ему могли положить в еду яду. Принесли этот поднос в комнату без него, и он даже не видел лица человека, принесшего его. Еда появилась как бы украдкой и потому была подозрительна, и, как ни хотелось Проворову есть, он отстранился от стола и, засунув руки в карманы, стал ходить по комнате, чтобы заглушить как-нибудь голод.

Но как ни отвертывался от стола Сергей Александрович, как ни старался думать о другом и сосредоточиться на подробном мысленном обсуждении того, что ему делать, он невольно косился на соблазнявший его поднос и испытывал муки голодного человека, перед которым поставили еду и который не может до нее дотронуться. Наконец это стало

невыносимо, и он решил снова отправиться по коридору на Двор, чтобы там хоть напиться воды из колодца.

Спускались уже сумерки, двор был совсем пуст, и Проворов, подняв из колодца ведро, припал губами к воде, но сделал лишь несколько глотков, потому что вода была совсем ледяная. Этих нескольких глотков ему показалось достаточно, и он, успев озябнуть, снова вернулся домой.

И на этот раз опять без него в комнате были. Там оказались спущены шторы и была принесена зажженная лампа под красным шелковым абажуром. Это уже не могло явиться вторичною случайностью. Очевидно, за ним следили и были осведомлены, когда он уходит.

Проворов вспомнил про потайной ход, имевшийся в его прежней комнате, и ему почудилось, что эта комната, в которой он сейчас, не только с тайниками, но и с отверстиями для подглядывания, и что повсюду смотрят на него невидимые глаза, и вот сейчас, даже сию минуту, на него глядят, а кто и откуда — он не знает!

Ему захотелось уйти... уйти куда-нибудь. И разве это было невозможно? Разве нельзя было пойти сейчас в конюшню и велеть запрягать?

То есть велеть-то, конечно, можно было, но кто его послушает? К тому же в его бричке отправился почему-то камер-юнкер Тротото, и, чтобы ехать, надо было прежде достать экипаж.

Уйти пешком? Так уйти, в чем есть... Кто его посмеет удержать? А если посмеет, тогда защищаться.

Да ведь никого и нет на дворе... Уйти, и конец!

Но, поймав себя на этой мысли, Проворов постарался сейчас же отбросить ее как совершенно неприемлемую: уйти потихоньку значило постыдно бежать, словно струсил и желаешь замести следы. И куда, наконец, было бежать ему, зачем?

Сергею Александровичу пришло на ум, как он ясно и убедительно доказывал доктору Герману, что ему ничего уже не оставалось в жизни ни желать, ни ждать. Жизнь его была кончена, и впереди не было ничего — полная

безнадежность и пустота. А теперь еще присоединилась эта рана, нанесенная господину Герману, суд, волокита, ответственность!

А что, если кончить с собой и прекратить все тяготы?

И точно будто это был ответ судьбы на подобный вопрос, Проворов вдруг тут только заметил, что на подносе, в то время как он уходил, была положена записка. Тщательно сложенная розовая бумага лежала возле самой тарелки. Ее не было прежде, и она, должно быть, была принесена вместе с лампой.

Проворов испытывал острое чувство любопытства, взял записку и стал разворачивать ее. Бисерным, но четким почерком было написано:

«Не бойтесь есть. Вы голодны. Вас не отравят. Будьте уверены. Ждите! Не растопчите роз. Надо осторожнее обращаться с розами!»

Последняя фраза, прочтенная Проворовым, вдруг перенесла его от отчаяния на верхи блаженства. Ведь это была та именно фраза, которую сказала ему его принцесса в Китайской деревне, в Царском Селе и которая уже послужила им однажды условным паролем для

свидания в маскараде. Ведь эту фразу знали только они вдвоем, и, кроме принцессы, никто не мог написать ее ему, и, кроме него, никто не мог понять ее значение.

Не могло быть сомнения, что эту записку писала она, хотя записка и не была подписана. Этот милый, прелестный почерк не мог лгать, эта пахнувшая нежным ароматом розовая бумага не могла быть двуличною. Наконец, эти слова: «Не топчите роз» — не могли быть написаны никем, кроме нее! Она, значит, тут, она близко, она имела возможность общаться с ним.

Проворов жадными, жаркими губами прикоснулся к записке и поцеловал ее.

Вот как мы не знаем, что сулит нам жизнь не только завтра, но сегодня, через миг. Один миг тому назад он был в полном отчаянии, и им овладела сумасшедшая мысль о самоубийстве, но стоило увидеть эту розовую записочку, и все изменилось! О нет, теперь он хочет жить! Теперь он сделает все возможное, чтобы дожить и дождаться той счастливой минуты, когда он увидит ее!

Увидит, но как? Ведь он уже знает, что она

грезилась ему только во сне, под влиянием внушения Чигиринского. Да ведь последнего нет в живых, и, значит, внушать он больше не может.

«Но доктор назвал себя Чигиринским, — вспомнил Проворов, — и действительно, когда с него слетел парик, он как будто стал похож на него».

Запутанные, беспорядочные мысли закружились в голове Сергея Александровича, напрасно старавшегося собрать их. Они кружились, как снежинки в метель, сбивая и заставляя исчезать одна другую.

«Чигиринский жив... действует своим внушением... тогда, значит, и эта записка — тоже сон! »

Но бутерброды, поднос, вино, лампа, холодная вода на дворе из колодца. Разве может все это присниться так ясно, так подробно? Разве можно, наконец, во сне ощущать такой голод, который прямо переходит в физическую муку?

И чтобы доказать себе, что он не спит, Проворов стал с жадностью уничтожать один за другим бутерброды, не успевая даже проже-

вызвать их хорошенько. Стакан вина тоже был вкусен и, видимо, подействовал так подкрепляюще, что опять-таки ощутить это во сне было немислимо.

«Что же, в самом деле, сплю я или не сплю?» — недоумевал Сергей Александрович.

С одной стороны, эта еда, в особенности ее вкус, — самая настоящая, по-видимому, действительность, с другой — записка от видимой им только во сне принцессы должна быть сном.

Но если сон зависит от внушения Чигиринского, то выходит, что последний жив, а если он жив, то Проворов ранил его под видом доктора Германа, и он уже, может быть, умер и не жив!

Получалась путаница, казавшаяся безысходною.

И, вертя розовую записку, Сергей Александрович перечитывал ее и старался вспомнить, разве можно во сне так вот перечитывать записку и подробно рассматривать каждую ее складку?

И то ему казалось это невозможным, то, наоборот, он решал, что во сне все возможно.

III

Утолив голод и выпив вина, Сергей Александрович почувствовал, что как будто успокоился настолько, что может рассуждать теперь вполне здраво и обстоятельно. Ни уезжать отсюда, ни покончить с собою он больше не желал.

Он сознавал это точно и определенно. Что бы ни было, он останется здесь до тех пор, пока вся эта путаница выяснится.

Но для того чтобы путаница выяснилась, необходимо было действовать, что-нибудь предпринять. Сидя же в одной комнате перед подносом с пустою тарелкою из-под бутербродов, ничего, конечно, нельзя было добиться.

Проворов встал и храбро пошел к двери.

Он вошел в коридор и хотел было покричать слугу или вообще позвать, чтобы откликнулась какая ни на есть живая душа, но не сделал этого, боясь нарушить царившую тишину и беспокоить ту, которая незримо для него была где-то здесь поблизости. И он счел за лучшее просто опять потихоньку пройти по коридору, на крыльцо, в расчете, что, может быть, по возвращении и в третий

раз найдет что-нибудь новое в комнате. Ему уж это понравилось.

Проворов медленно направился по коридору, но затем быстро высунулся только в наружную дверь и сейчас же стремглав кинулся к себе назад. Он хотел своей поспешностью поймать в комнате того, кто был там в его отсутствие.

Однако, влетев в комнату как бешеный, он таки никого не поймал там. Очевидно, теперь уж никто и не заглядывал сюда без него, потому что и лампа, и поднос с пустой тарелкой, и графин — все стояло на прежнем месте, как он оставил.

Сергею Александровичу стало стыдно за свою уловку, почти равную мальчишеской выходке.

Но топтаться на одном месте было скучно, и когда, наконец, Проворов увидел в коридоре большого, здоровенного гайдука, то очень обрадовался этому живому человеку, тем более что гайдук шел именно к нему и знаками стал показывать, чтобы тот следовал за ним. Это был румын, не понимавший или не желавший понимать по-русски, но очень друже-

любно улыбавшийся и почтительно кланявшийся.

Видно было, что к Проворову тут враждебных чувств не питали. Он последовал за румыном, и тот провел его в другую от коридора сторону, через несколько богато украшенных комнат, в спальню, ту самую, где ночевал Проворов и где произошла между ним и доктором Германом сцена, закончившаяся не совсем обычно, трагически.

Там, на знакомой Проворову постели, на высоко взбитых подушках, под белым пикейным одеялом, лежал Чигиринский, почти во все не изменившийся с тех пор, как Сергей Александрович видел его в последний раз под Измаилом. Только лицо его было бледное, и взгляд казался усталым. Он смотрел на приятеля, и его глаза улыбались.

Первым ощущением Проворова была радость, охватившая его при виде Чигиринского. Он протянул руки, и у него вырвалось:

— Ванька, так это и правда — ты?

— Тише, не растормоши меня! — ответил Чигиринский. — Мне надо лежать не двигаться.

— Что с тобой? Что-нибудь серьезное?

— Вот это мило! Сам полоснул да и спрашивает!

— Ах да, ведь это я тебя! Но вольно же было тебе притворяться этим доктором! И не понимаю, зачем это? Как это ты мог оказаться доктором Германом, то есть доктор Герман — тобой? Это — что-то сверхъестественное и необъяснимое.

— погоди, об этом после... Мне нельзя много говорить... много крови вышло... я еще слаб.

— А что, разве правда — серьезно? Господи, если бы я знал только!

— Ну, уж что было, то было! Я сам виноват — слишком понадеялся на себя. Потом обо всем переговорим, и я тебе все расскажу, а теперь я позвал тебя, только чтобы сказать, что ты у меня в доме и можешь быть совершенно спокойным.

— Да что тут обо мне говорить. Рана у тебя неопасная? Кто тебя лечит? Есть у тебя доктор? Хочешь, я сейчас верхом съезжу за доктором? Скажи только куда.

— Ничего, брат, этого не нужно; что другое,

а раны лечить в этих местах умеют без всяких докторов и даже гораздо лучше их. Тут ведь с незапамятных времен идет поножовщина с турками, и, слава Богу, научились и драться, и ухаживать за ранеными. У меня, в сущности, все оказалось пустяками, а тут и более серьезные случаи могли бы выходить.

— Да наверно ли ты знаешь, что рана у тебя неопасная?

— Знаю и уверен в этом. Лечить какие-нибудь там другие болезни здесь, конечно, не умеют, но всякие поранения здесь каждый старик сумеет безошибочно определить, а меня лечит один, известный на всю округу. Ну, прости, я устал! Поди пока к себе. Хочешь, тебя проведут в библиотеку? Возьми книги, а завтра, верно, уж у меня настолько будет силы, что я смогу побольше говорить.

IV

«Ай-ай-ай! Что я наделал! — говорил Проворов, хватаясь за голову и шагая по библиотеке, в которую его провели. — И надо же так, чтобы я не узнал его!.. Впрочем, он сам виноват!»

И, не стараясь уже распутать сплетшуюся

паутину неразгаданного сочетания обстоятельств, Сергей Александрович стал мысленно в тупик еще перед новой загадкой относительно его принцессы, которую он считал своею грезой. Теперь он уже верил в действительность ее существования, так как ее записка была с ним, и, конечно, являлось невозможным, чтобы вся эта цепь событий, связанных с нею, до раненого Чигиринского включительно, виделась ему во сне.

Но если принцесса существовала на самом деле и жила в этом доме, то какое отношение она имела к Чигиринскому?

Этот вопрос все время вертелся у Проворова, когда он говорил с воскресшим так неожиданно приятелем, но боязнь быть нескромным удержала его. Почему знать? Может быть, принцесса не хотела, чтобы здесь, в доме, стало известно о ее записке, и ему было приятно думать, что эта записка является тайною между ними.

Но ведь принцесса в тот первый раз, когда он увидел ее в Китайской деревне, заговорила с ним, чтобы предупредить его относительно доктора Германа, чтобы он был осторожен;

значит, она должна относиться к этому доктору недружелюбно, а доктор оказывается Чигиринским, а она живет в доме Чигиринского, то есть доктора Германа.

— Нет, тут можно с ума сойти! — произнес вслух Проворов. — Чем больше думаешь об этом, тем больше путаешься!

Библиотека была обставлена роскошно, как, впрочем, и все остальные комнаты, которые видел Проворов. Вдоль стен были шкафы с книгами, и их красные сафьяновые корешки с золотым тиснением красиво ровнялись по полкам, обрамленные вычурными стеклянными дверцами. На шкафах стояли бюсты греческих философов, посредине находился покрытый темно-зеленым сукном с шелковой бахромой стол, освещенный висячей лампой под зеленым тафтяным абажуром, на столе лежало несколько книг, вынутых из шкафа и оставленных здесь.

Проворов взял одну, лежавшую отдельно, и стал перелистывать ее. Это был том сочинений Мармонтеля, которые Проворов уже читал. Но времени у него было более чем достаточно, и он все равно, Мармонтеля так Мар-

монтеля, стал читать со середины.

Углубившись в чтение, Сергей Александрович незаметно для себя пробежал несколько страниц, машинально переворачивая их, как вдруг его внимание было привлечено золотобрезным листиком бумаги, выпавшим из книги. Листик был исписан мелким, бисерным почерком, который он сейчас же узнал. Глаза его впились в написанное, и у него не было даже колебания, можно или нельзя читать, он не успел даже подумать об этом. Почерк был несомненно принцессы, эти книги были оставлены, вероятно, ею, и, очевидно, исписанный листок был забыт ею в книге. Проворов стал читать, потому что иначе и не мог бы поступить.

«Он сегодня приехал, — читал он, — живой и здоровый; я не ожидала, что так обрадуюсь этому. Конечно, я ехала из Петербурга, чтобы увидеть его, но не знала, что приближение свидания заставит мое сердце так биться. Когда я ехала, то не знала, жив ли он; последнее сведение, которое я имела о нем, было из-под Измаила, до того, как эта крепость пала. Я знала, что они все будут участвовать в штур-

ме, потому что Воронежский гусарский полк был послан на помощь в распоряжение Суворова. Когда я узнала теперь, что все благополучно и он невредим, то очень обрадовалась; но это было совершенно не то, что я чувствую теперь, когда он приехал сам и мы находимся с ним под одной крышей. Сознать это мне и странно, и почему-то страшно. Я еще не видела его — он приехал ночью — и не могу себе представить, что вот он сегодня войдет, поздоровается и будет, как все. Мне кажется, что он должен быть совсем особенным и все делать необычайно. Неужели мы с ним будем говорить о погоде, о дороге, об удобстве или неудобстве экипажа? У меня захватывает дух, когда я только думаю об этом. Я знаю, что все это — глупости, что я, конечно, выдержу себя и виду не покажу: но для этого нужно пережить внутри себя все, чтобы быть готовою, а в моих письмах к тебе я переживаю именно те чувства, которые хочу скрыть от всех других. Пока оставляю перо: скоро придут звать меня к завтраку. Ах, милая Лиза, сколько нового и прекрасного я узнала о нем! Это — настоящий герой, и его любовь столь возвышен-

на, что далеко превзошла границы земного. После нашего свидания буду продолжать».

Несомненно, это было начатое письмо, писанное к неведомой Лизе, которую принцесса называла «милой» и которая поэтому была мила и Проворову.

Лиза, конечно, была мила. Но кто был этот «он», о котором шла речь в письме?

«Очевидно, это — Чигиринский!» — решил Сергей Александрович сразу, и ревнивое чувство откуда-то из глубины всплыло наружу.

Но Чигиринский был ведь под видом доктора Германа, неужели же доктор Герман является героем? Да нет же! Ведь она сама же предупреждала его, Проворова, относительно доктора!

«Но внушение! Внушение!» — вдруг вспомнил Сергей Александрович, как будто начиная понимать.

Ведь Чигиринский сам в оставленной рукописи признавался, что имел поразительный дар внушения и мог заставить каждого переживать и видеть все, что ему было угодно.

«Мне он внушал, чтобы я грезил принцес-

сой, а ей мог внушать, чтобы она грезила им самим, хотя бы под видом доктора Германа, — соображал Проворов. — фу, как все это неприятно и даже мерзко! Но хуже всего то, что я прочел чужое письмо. Просто отвратительно! И поделом мне, не читай другой раз чужих писем! Теперь все стоит вверх дном... Зачем я, в самом деле, читал? Вот оно выходит, что правильно говорится, что всякий дурной поступок несет сам в себе и наказание».

И Проворов ужаснулся той нравственной бездне, в которую, ему казалось, он попал. Вчера в пылу гнева он нанес рану человеку, которого считал своим злейшим врагом, и человек этот оказался его другом. И вышло, что под видом врага он чуть не убил своего единственного преданного друга. А сегодня он дошел до того, что прочел письмо, и вот теперь должен раскаиваться в этом.

Теперь, в эту минуту, Сергей Александрович желал лишь одного, чтобы перед ним явилась принцесса и он мог признаться ей в своей гнусности (иначе он не мог назвать свой поступок), а затем будь что будет!

Он поднял глаза и посмотрел на дверь,

точно его толкнуло что-то.

В дверь библиотеки входила та, которую он называл принцессой.

V

Говорят, что, когда чего-нибудь желаешь всеми силами души, оно непременно случится. Так случилось теперь и с Проворовым. Он увидел, что принцесса входила в библиотеку, где он сидел, как раз в ту минуту, когда он желал этого, но, увидев, сейчас же подумал:

«Нет, лучше не надо! Я не могу признаться ей, что прочел ее письмо... это ужасно! »

Должно быть, у него в этот миг было очень изменившееся лицо, потому что принцесса остановилась и почти испуганно взглянула на него.

— Простите меня, — заговорил он, — но я не имею права... говорить с вами... то есть, напротив, я хочу вам сказать... Впрочем, может быть, я опять вижу вас только во сне, в сновидении?

— Ах да, — сказала она, — брат рассказал мне все, как вы меня видели во сне, внушенном им, и как он устроил тогда нашу встречу в маскараде у Елагина!

«Брат? — соображал Проворов. — Какой брат, о каком брате она говорит?»

— О каком брате вы говорите? — произнес он вслух. — Нашу встречу в маскараде устроил Чигиринский... у него был и костюм готов для меня.

— Ваш Чигиринский и есть мой брат! Я думала, он уже сказал вам об этом.

— Он ничего не говорил мне, — произнес Сергей Александрович, а у самого в ушах так и звучал ее чудный голос: «Брат, брат... ваш Чигиринский и есть мой брат».

Так вот оно что!.. И как это просто, и как он сам не мог догадаться об этом? Ведь иначе и быть не могло: если она находится теперь в этом доме Чигиринского, то лишь потому, что он — ей брат; это должно быть известно малолетнему ребенку, а он не мог ничего понять.

— Нет, он ничего не говорил мне, — повторил он. — Но, наверное, он и вам ничего не говорил.

— О чем?

— О том, что ведь это я ранил его вчера... вы знаете это? Я виноват... Теперь он мучается, и я этому виною.

Лицо принцессы перестало улыбаться, но глаза смотрели по-прежнему радостно и счастливо.

— А вы очень тревожитесь за моего брата, вы очень любите его? — спросила она.

Проворов захлебнулся от счастья.

— Люблю ли я его? Разве можно об этом спрашивать? Ведь если б я мог только предполагать, что доктор Герман — он...

— А вы ничуть не узнавали его под видом доктора? Я тоже долгое время не узнавала; только потом он открылся мне, когда убедился, что я не болтлива и могу, когда нужно, помогать ему.

— Можете вы ответить мне на один вопрос? Если нет, то так и скажите, просто и прямо.

— Хорошо, спрашивайте!

— Что, тогда, в Китайской деревне, когда вы предупреждали меня относительно доктора Германа, вы знали уже, что этот доктор — видоизмененный ваш брат?

— Знала. Он мне сам велел сделать это. Он сказал, что вы пройдете мимо окна и что я должна отворить окно, окликнуть вас и пре-

дупредить.

— Но он незадолго перед этим сам разговаривал со мной под видом доктора.

— Да, и, вероятно, не хотел обманывать вас, то есть боялся, что его обман зайдет слишком далеко. Впрочем, он лучше сам расскажет вам все, когда силы вернутся к нему.

— А вы уверены, что это будет, что он выздоровеет? Опасности никакой нет?

— Нет, никакой! Рана неглубокая, в сущности, повреждена только кожа. Крови вышло много, и он ослабел; все-таки, вероятно, будет лихорадка.

— А теперь ее нет?

— Нет, он спит только.

— Так, значит, я видел вас живую там! — воскликнул Проворов. — Китайская деревня не была сном, а ваш брат в рукописи, оставленной им мне, писал, что вы были для меня только грезой, несбыточной мечтой.

— А мечта, однако, сбылась.

— Да, но лучше бы, пожалуй, чтобы... не сбывалась.

— Вот как? Почему же? — с оттенком даже легкого испуга спросила принцесса.

— Потому что... Потому что... Я не достоин видеть вас.

— Это вы все мучаетесь по поводу брата? Но ведь все оказалось к лучшему, то есть я хочу сказать, что и во всяком дурном есть также и хорошая сторона. Рана, слава Богу, легкая, и опасности нет, но зато вы узнали, что мой брат жив и скрывается под видом доктора Германа, и он как бы воскрес для вас.

— Не понимаю, зачем это ему понадобилось! — сказал Проворов и подумал: «И она же утешает меня».

— Очевидно, иначе нельзя было, — пояснила она. — Конечно, на то были серьезные причины.

— Но все-таки он ведь обманул меня, — проговорил Проворов и сейчас же вспомнил, что не ему, вероломно прочитавшему чужое письмо, говорить о том, что кто-нибудь обманул его. — Впрочем, нет, — подхватил он вслух, — мне нельзя так говорить, я сам сделал ужасную вещь.

— Вы начинаете тревожить меня. Что сделали еще вы?

— Я... я прочел ваше письмо, — выговорил

через силу Проворов и закрыл лицо руками.

Ему казалось, что все погибло и возврата к возможности счастья нет.

— Какое письмо? — переспросила принцесса с искренним удивлением.

— Вот это... этот листок... — И Сергей Александрович дрожащей рукой передал ей найденный им в книге листок, исписанный ее рукой. Чигиринская еще раз удивленно посмотрела на Проворова и, грустно покачав головой, укоризненно произнесла:

— Зачем вы сделали это?

— Простите, я люблю вас! — вырвалось у Проворова совершенно помимо его воли, словно это говорил не он, а совершенно другой, посторонний ему человек.

«Сейчас она возмутится моей дерзостью и с негодованием отвергнет меня», — решил он.

Но принцесса не отвергла, не ахнула, не убежала, как это сделала бы жеманная барышня, а, услышав вырвавшееся у него невольное признание, которым он хотел оправдать свой поступок, просто и откровенно ответила:

— Я это знаю.

Дрожь, как от озноба, пробежала по всему существу Проворова.

— Вы это знаете и говорите это мне?

— Да, знаю, и знаю от брата, что ваша любовь ко мне подвергалась испытаниям и выдержала их, преодолела соблазн, и это в то время, когда вы считали меня только мечтою. Я думаю поэтому, что ваша любовь не изменится ко мне теперь, когда мы встретились наяву.

С этими словами принцесса протянула Проворову руку.

— Да что ж это, что ж это? — бессвязно залепетал он, припадая губами к ее руке. — Что ж это? Если это — не сон, то это — другой, райский мир. На земле не может быть такого счастья... не может быть... Вы — ангел... Да, на земле не может быть счастья, — повторил он и, отпустив руку девушки, грустно поник головой.

У него было такое страдальческое лицо, что ей стало жалко его.

— Что еще? В чем дело? — спросила она.

— Все то же письмо, этот листик, — вздохнул он. — Там вы пишете о ком-то, который

вам дорог.

— Глупый, ведь это же я писала о вас!

Обе руки принцессы теперь протянулись к Сергею Александровичу, и в тихой, уютной библиотеке, озаренной зеленым полусветом лампы, родился девственный поцелуй и несколько секунд жил, замирая, и две души, разделенные, соединились в одну, чтобы не расставаться навеки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

Имя ее было Елена, и Проворову, понимает-ся, казалось, что лучше, благозвучнее этого имени нет на свете. Ему чудилось даже, что всегда, с самого детства, он только и любил это имя и из всех женских имен только оно и нравилось ему.

Чигиринский был еще слаб, и они не сообщали ему о своем объяснении, но между ними в те несколько дней, пока здоровье Ваньки шло на поправку, было все переговорено и обсуждено.

Кроме брата, у Елены не было близких родных; отец и мать умерли давно, и Чигирин-

ский заменял ей всех. В Петербурге она держалась в стороне от большого общества, была на положении еще маленькой и не выезжала в большой свет, где мог бы видеть ее Проворов или вообще молодые люди. Товарищам же Чигиринский никогда не говорил о сестре, потому что полк с его интересами, и если не грубостью, то, во всяком случае, суровостью, был другим миром, далеким от Елены.

Однако Елена иногда любовалась издали и на блестящие парады, карусели, и на кавалькады офицеров и некоторых из них знала по рассказам брата. Проворова она отличала давно и знала его в лицо, а затем ей пришлось заговорить с ним; и из всего, что она потом узнавала о нем по бесконечным рассказам брата о приятеле, она убеждалась, что он любит ее и его любовь беззаветна. Мало-помалу Проворов с его влюбленностью в нее, как в сновидение, стал казаться ей совершенно исключительным человеком, идеальным, выше обыкновенных людей.

Она, конечно, не могла разобрать, что он просто понравился ей с первого же взгляда и что все остальное было лишь развитием того

первого толчка, который, как бы по предопределению, свивает жизнь двух людей иногда удачно, а иногда и нет.

Словом, когда им пришлось встретиться, их чувства друг к другу были настолько развиты мечтательностью, что только и могли разрешиться соединением двух сердец. Но им все это казалось гораздо более знаменательным, из ряда вон выходящим, неземным, небывалым.

Они удивлялись, как это они так понимают друг друга, и думали, что, очевидно, их единение на земле было уготовано в предвечные времена, когда на земле еще не было людей и только души человеческие витали в необъятном пространстве мира. Мир являлся для них гармонией, и в этой гармонии они сливались.

И еще, и еще говорили они и находили новые подтверждения тому, что им нельзя было не встретиться, так как тогда и мир не мог бы существовать.

Они были счастливы, и в этом счастье весь мир заключался в них самих и потому весь мир казался им счастливым. Они вообража-

ли, что никто раньше не испытал ничего подобного, и не только не испытал, но даже и понять не в состоянии, так глубоко все это. Они были уверены, что с полной серьезностью хранят свою великую тайну мироздания и иногда только значительно и проникновенно обмениваются взглядами, на самой же деле их лица радостно улыбались наивною, блаженною улыбкою, и больной Чигиринский с первого же взгляда на них догадался, что они объяснились, в первый раз поцеловались и, как все влюбленные, переживают глупое, но радостно-счастливое время просветленной взаимности.

Впрочем, действительно, внешнее положение их влюбленности для того времени было не совсем так, как у всех. В богато обставленном, роскошном и уютном доме Елена, не неся никаких забот и обязанностей, была полной хозяйкой, то есть могла распоряжаться всем, как хотела, и, главное, самой собой и своим временем. Они целые дни или сидели у постели Чигиринского, или вдвоем в библиотеке, и никто им не мешал, не было строгих глаз, которые бы молча, настойчиво следили

за ними.

Особенно приятны были для них обеды и завтраки в столовой, где весело трещал камин и подавались самые вкусные вещи с обилием сластей, до которых и Проворов, и Елена были большими охотниками.

— Как это все случилось и почему, я не понимаю! — сказал однажды Сергей Александрович. — Но я рад, что случилось так, а не иначе, и мне даже теперь не хочется узнавать подробности, так все хорошо и отлично.

— Нет, а мне напротив, — возразила Елена. — Конечно, мне многое известно, но подробностей я не знаю, и мне хочется узнать все. Отчего, например, брат тогда знал, что вы придете именно в Китайскую деревню, и был так уверен в этом, и подробно объяснил, что я должна была сказать?

— Но ведь о розах он ничего не говорил... это уж вы сами?

— Да... о розах я сказала сама.

— Все это — судьба! — произносил Проворов и значительно покачал головой.

II

Через несколько дней здоровье Чигирин-

ского стало совсем хорошо, и первым делом он был посвящен сестрой и приятелем в то, что между ними выяснены их чувства.

— Ну и слава Богу! — сказал он. — Я очень рад и всегда был уверен, что этим должно было кончиться.

Проворов при этом не упустил случая, чтобы значительно покачать головой, как бы говоря:

«Вот видите, и он согласен, что тут было высшее предопределение».

Ему страстно хотелось говорить с Ванькой о его сестре, и о самом себе, и о своем чувстве любви к ней, но Чигиринский заставил его серьезно выслушать свой рассказ с объяснениями его действий.

— Уж раз тебе известно теперь, что я и доктор Герман одно и то же лицо, так по крайней мере надобно, чтобы ты знал все, чтобы нам условиться и обдумать, как нам действовать дальше. Дело ведь очень серьезно, и, если мы не предусмотрим всего и не примем мер, это может грозить и тебе, и мне смертью.

— Я ничего не боюсь! — восторженно воскликнул Проворов.

— Подожди, не горячись! Я знаю, что ты ничего не боишься, но нам нужно быть осторожными ради нее. — И он показал на Елену.

— Да, ради нее... Конечно, тут нужна осторожность.

— Ведь этакая ты горячка! — продолжал Чигиринский. — У меня все было так хорошо налажено, так хорошо сцеплялось, и вдруг ты все испортил этой своей выходкой!

— Но почему же испортил? Ведь я зато нашел тебя, и ты как бы воскрес для меня, вернулся, и я встретился с Леной, — убедительно проговорил Проворов, не замечая, что повторяет ее слова, сказанные ею ему в утешение.

— Все это случилось бы и без того, но во благовремение, то есть тогда, когда это было можно и нужно, а теперь ты все спутал. Но погоди: что сделано, то сделано и прошлого не вернешь. Теперь слушай! Я начну с начала. Для того чтобы узнать тайны масонов, я уже давно вошел в их среду и, благодаря своей способности действовать внушением, достиг среди них, как обладатель высшей силы, высоких степеней. Я бывал за границей, там узнал всех верховных руководителей масон-

ства и добился того, что был назначен главным тайным блюстителем всех лож в России. Наконец, было получено известие, что в Петербург едет доктор Август Герман, о котором я, как посвященный почти во все тайны братства, знал, что он — великий мастер. Я должен был встретить его в Петергофе в день его приезда, чтобы прямо оттуда привезти его в Царское Село на заседание девяти главарей масонства в России, нарочно съехавшихся для торжественной встречи великого мастера. Я знал, что он должен был привезти важные документы. Кроме документов, он привез известие о взятии Бастилии.

Я встретил его, мы обменялись знаками, и я сейчас же узнал, что это — человек большой силы и что не даром он избран великим мастером. До того мы не встречались.

Наша встреча произошла в подвале одного маленького масонского дома в Петергофе. Здесь мы могли говорить так, что никто не имел возможности подслушать нас. Такой скрытной уединенности потребовал от меня приехавший Герман, и я, обязанный повиноваться ему как старшему, тут же заподозрил

опасность и насторожился.

Подвал был довольно обширный, приспособленный для масонских собраний, освещенный тремя восковыми свечами.

Едва мы вошли, Герман резко обернулся ко мне с протянутыми руками. Я почувствовал исходящий из него ток магнетизма, настолько сильный, что он, наверно, усыпил бы меня моментально, если бы я не был готов к противодействию. Явно было, что в подвале он рассчитывал лишить меня сознания внушением и заставить меня говорить в бессознательном состоянии.

Встретив от меня обратный ток, он удивился и постарался усилить свое влияние. Я в свою очередь делал усилия, чтобы заставить его потерять сознание. Между нами, так сказать, началась как бы дуэль или единоборство.

Мы боролись молча. На моей стороне было преимущество молодости, но Герман был гораздо опытнее меня, и ему были известны приемы магнетизации, которых я не знал и которые я воспринимал, как бы практически учась им. Это был для меня урок некоторых

пассов, действовавших почти механически и впоследствии во многих случаях весьма успешно примененных мною.

Мне было тяжело, я изнемогал, но видел, что и моему противнику нелегко.

Вдруг он упал навзничь и остался недвижим. Я нагнулся над ним, думая, что он только побежден в борьбе магнетических токов, но должен был убедиться, что он мертв: сердце его не выдержало напряжения и разорвалось.

Признаться, я не ожидал такой развязки. Конечно, я мог взять бывшие при нем документы, которые он вез, и официально объявить о смерти приезжего. Врачи дали бы свидетельство, что он скоропостижно умер от разрыва сердца, но в таком случае мне нельзя было бы воспользоваться документами. Власти, разумеется, не заподозрили бы ничего, но масоны, ждавшие этих документов, сейчас же поняли бы, в чем дело, если бы их не оказалось при докторе Германе. И мне пришло в голову другое: этого доктора никто не знал и никто не видел в Петербурге, и я решил разыграть его роль, привезти, будто бы это

он, документы и затем проделать комедию их похищения, с тем чтобы самому же найти их.

— Как самому же найти? Зачем? — воскликнул Сергей Александрович.

— погоди! — вновь остановил его Чигиринский. — Не перебивай! Все будет понятно потом. Труп господина Германа я закопал тут же, в подвале, а сам, изменив лицо, то есть стянув кожу в морщины при помощи коллодиума, который всегда был со мной, и надев синие очки и платье доктора, сел в его дорожную карету и, выехав в Царское под видом знатного иностранца, попал прямо на заседание масонов, на которое я чуть было не опоздал.

Дальше известно тебе многое, но еще не все...

III

— Дальше, — перебил друга Проворов, — мне известно, что ты вместо того, чтобы представить эти документы куда следует, совершил целый ряд совершенно непонятных действий. Ну, хорошо, если уж так приходилось, что тебе нужно было взять документы с собой в действующую армию, то зачем тебе нужна

была мнимая смерть под Измаилом? Зачем тебе нужно было оставлять эти документы мне и самому же их вместе с Тротото похищать у меня, с тем чтобы отправить за границу?

— Твое недоумение, — ответил Чигиринский, — лишь убеждает меня, что я действительно хорошо обдумал, если и ты, зная уже многое, не в силах догадаться, зачем нужно мне действовать так, а не иначе. Послушай, Проворов!

Подумай: если бы я поступил по-твоему и, как ты говоришь, препроводил документы куда следует, братство вольных каменщиков считало бы их утраченными для себя и, во-первых, сделало бы все возможное, чтобы найти их, и затем не пощадило бы ничего, чтобы противодействовать там, где это нужно, против сделанных путем документов разоблачений. Масоны объявили бы эти документы подложными, сплели бы целую сеть, и масонство всего мира поднялось бы ради самозащиты. А когда масонство всего мира подыметя, против него, пожалуй, не устоять нам с тобой. Значит, для меня правильнее и

выгоднее всего было взять поиски этих документов в свои руки, под видом доктора Германа, заверив братство именем великого магистра, что они будут найдены во что бы то ни стало.

— Но ведь это же был большой риск... даже громадный! Или ты уж так похож на этого доктора, что можешь во всех подробностях, до тонкости разыграть его роль?

Чигиринский усмехнулся и покачал головой.

— Я совершенно не похож на него. Но дело в том, что посвященные в высшие степени масонства почти никогда не бывают на людях в своем естественном виде, все равно как агенты сыска, а всегда под той или иной личиной. Доктор Герман, явившись в Россию, тоже принял на себя личину, которую он мог видоизменить в случае надобности: значит, немудрено, если я выдавал себя за него и в ином виде! Важно было то, что документы пропали и я их отыскиваю в качестве доктора Германа. Сомневающимся же должны были убедить опознательные знаки, которые все мне известны, и, главное, сила, которой я об-

ладаю. Теперь слушай! Во время нашего долгого пути я самым тщательным образом скопировал все документы, работая над этим по ночам.

— А я думал, что ты пишешь свой дневник! — сказал Проворов.

— Нет, я упражнялся в копировании и после долгой работы и многих неудач добился того, что в совершенстве воспроизвел доставшиеся мне масонские бумаги... Понимаешь теперь?

— Нет, ничего не понимаю! — искренне ответил Проворов.

— Это оттого, что у тебя мысли другим заняты! Ну да уж что с тобой поделаешь! Моя подделка была готова как раз под Измаилом, и в ночь накануне штурма я написал рукопись, которую оставил тебе вместе со скопированными документами.

— Что же ты сделал с подлинниками?

— Ну, как ты, брат, думаешь, что я сделал с подлинниками?

Проворов ударил ладонью по лбу.

— Понимаю! Подлинные документы остались у тебя?

— Ну, разумеется, догадался, слава Богу! Видишь ли, когда у меня документы были готовы, я дал знать представителю масонства под Измаилом камер-юнкеру Тротото, что местонахождение их известно, то есть что они у секунд-ротмистра Чигиринского. По правде сказать, я не ожидал, что этот щупленький и ничтожный Тротото окажется глубоко преступной натурой, способной на крайние мерзости. Ты помнишь историю с нашим отравлением?

— Помню.

— Ну, так после этой истории я окончательно убедился в необходимости обезопасить нас с тобой как можно скорее, потому что одного глупого Тротото было достаточно, чтобы не быть спокойным за наше существование. Но в братстве могли найтись люди и поумнее его, и вместе с тем не менее решительные, чем он. Теперь план у меня был таков: после штурма Измаила я исчезаю как без вести пропавший...

— Но ведь нашли твой обезображенный труп?

— Ну, он, должно быть, был сильно обезоб-

ражен, и уж в этом я неповинен! Впрочем, после каждого кровопролития случаются такие ошибки! Все равно, я пропал без вести, но вы даже нашли мой труп, и я исчез.

— Вместе с подлинными документами?

— Ну, разумеется! Ты хранишь подлинные копии и делаешь это совершенно искренне, потому что уверен в их подлинности.

— Но отчего же ты не рассказал мне раньше всего этого? Я сумел бы сохранить тайну, но по крайней мере не переживал бы горя при твоей смерти!

— Милый мой, в масонском братстве есть люди, которые читают в мыслях у таких неопытных, как ты, и ты мог бы выдать, сам того не зная, поэтому необходимо было, чтобы ты совершенно искренне разыгрывал свою роль.

— Неужели Тротото может читать в чужих мыслях?

— Нет, он едва ли. Но, может быть, возле тебя был кто-нибудь из тайно посвященных. Под видом доктора Германа я всё время сберегал тебя и, сказав камер-юнкеру, что он своею жизнью отвечает мне за твою жизнь, направ-

лял его. Однако ты хранил порученное тебе не без хитрости и остроумия. Эта твоя выдумка с баулом Малоземовой была недурна, и, конечно, Тротото попался бы и, вдавшись в обман, потерял бы след. Но тогда к тебе приставили бы более опытного. Необходимо было разрубить гордиев узел, и я завлек тебя с Малоземовой сюда и распорядился с твоим баулом, зная, что потом, когда я откроюсь тебе, ты ничего не будешь иметь против этого.

— Да, теперь-то, конечно, я ничего не имею.

— Ну, еще бы ты имел что-нибудь против, когда дело шло о твоём же спокойствии и безопасности! Ведь теперь, когда документы, или, вернее, копии с них, господин Тро-тото привезет заграничным заправилам-масонам, они успокоятся на том, что серьезная улика против них исчезла, так как они получили назад документы, обличающие их. Они будут хранить их за девятью замками и семью печатями где-нибудь в тайнике старого рыцарского замка и не только перестанут преследовать тебя, но и забудут обо мне, как об убитом под Измаилом Чигиринском. Теперь мы в без-

опасности, можем сохранить подлинные документы и, выждав удобный момент, представить их в полном секрете, так что никто из братства и подозревать не будет, что песенка масонства в России навсегда спета. Надеюсь, что эти документы сохранятся в тайных архивах Петербурга и будут известны только тем, кому это будет нужно.

IV

— Все это хорошо, — сказал Проворов, — но как же теперь быть с доктором Германом? Ведь надо же как-нибудь его...

— Ликвидировать? — подсказал Чигиринский. — Это было бы очень легко, не вмешайся ты со своим ножом.

— Да уж будет... не упрекай его! — тихо остановила Елена, присутствовавшая при разговоре. — Он и без того, — показала она на Проворова, — достаточно мучается этим!

— Да я не упрекаю, а только говорю, — возразил Чигиринский. — У меня все это было обдуманно и налажено. Доктор Герман должен был отправиться в Крым и там исчезнуть, причем на берегу моря были бы найдены его шляпа и трость и стало бы известно,

что он утонул, причем все полицейские формальности были бы, конечно, соблюдены и память о нем канула бы в Лету, затем появился бы на свет Божий Чигиринский, и все вошло бы в обычную колею!

— Ну а этот дом, а это поместье? — спросил Проворов.

— Этот дом и это поместье куплены на имя сестры и брата пропавшего без вести под Измаилом Ваньки Чигиринского, тоже Чигиринского, Клавдия, как две капли воды похожего на Ваньку, с которым они — близнецы, и от всей души сокрушающегося об утрате горячо любимого им Ваньки.

— А у тебя действительно существует такой брат?

— Нет, только на бумаге, но зато бумаги все эти в порядке, и, чтобы достать их, мне пришлось немножко раскошелиться. Законной же хозяйкой всего этого состояния считается одна Лена.

— Хорошо! Так ведь в сущности ничего не изменилось!.. Ну что ж? Ну, тебя здесь знают под именем Клавдия Чигиринского, но ведь все это не мешает в один прекрасный день

прибыть доктору Герману со всеми его документами в Крым и там утонуть с оставлением шляпы и палки на берегу моря.

— Да, видишь ли, здесь-то меня под видом доктора Германа никто и никогда не видал! У меня тут такой обычай, что, когда я приезжаю, никто не смеет показываться мне и готовый ужин ждет меня в столовой на столе. Так и на этот раз: я приехал с камер-юнкером Тротото в обличий доктора Германа, и никто не знал об этом, потому что мы, никем не встреченные, прошли прямо в столовую, а затем в свои комнаты. Знали только, что приехал хозяин, и больше ничего. Ночью в темноте слышали мой голос, а утром видели меня в своем виде. Для тебя я нарочно опять переделся в доктора; думал убедить тебя, а в крайнем случае просто заставить внушением или забыть о пропаже у тебя документов, или отнестись к этому спокойно, как к событию совершившемуся и непоправимому. Но ты пырнул меня ножом. В последнюю минуту я успел дать тебе знак, и ты упал без сознания, но я сам свалился, нас поднимали люди и видели, что я был переодет.

— Нет, этого никто не видел, — перебила Елена.

— Как никто не видел? — удивился Чигиринский. — Как же тогда все это произошло?

Елена опустила глаза и, в смущении понижая голос, проговорила:

— Я стояла за дверью потайного входа...

— И слушала наш разговор?

— Мне хотелось слушать его голос... И кроме того, я словно предчувствовала что-то недоброе. Я не успела показаться вовремя, и, когда выскочила из-за двери, вы уже оба лежали на полу. Я, не раздумывая, как бы по чутью, что надо было делать, схватила твой упавший парик, сняла с тебя очки и позвала на помощь людей, сказала им, что барин случайно ранен. Мы положили тебя на постель тут же, а Сергея отнесли в его теперешнюю комнату.

Елена в первый раз назвала Проворова просто Сергеем, и это было так прелестно, что он в эту минуту забыл обо всем и восторженно глядел на нее.

— Да, вы прочли мое письмо, — обернулась она к нему, — а я подслушала ваш разго-

вор! Значит, мы с вами квиты.

— Какое письмо? — поинтересовался Чигиринский.

Елена и Проворов потупились и покраснели. Относительно прочтенного письма им обоим и не хотелось, и совестно было рассказывать.

— Это ничего, так!.. Там одно письмо... — уклончиво сказала Елена.

— Да, это так, — сказал и Проворов, отворачиваясь.

— Я сама вымыла тебе лицо, — поспешила продолжить свой рассказ Елена, — и уничтожила все твои снадобья; так что, когда явился лекарь, никаких следов твоего переодеванья уже не оставалось.

— Вот это хорошо! — похвалил Чигиринский. — Таким образом, все обстоит благополучно и ничто не нарушено. О приезде сюда доктора Германа знает только один Тротото, но он теперь далеко, вероятно за границей.

— А если он вдруг почему-нибудь замешкался и вернулся?

— Не думаю... А впрочем, мы, вероятно, скоро получим от него известие.

Весь проведенный Чигиринским план действий Проворов, конечно, одобрял и мог только удивляться поистине исключительной находчивости приятеля, с которой тот обставил это сложное и вместе с тем опасное дело.

Действительно, лучше нельзя было и придумать.

Масонская организация никогда не узнает, что избобличающие братство документы вовсе не хранятся в его хранилище, содержимое которого полностью известно только особам исключительно высокого положения. А масонство станет действовать в гордом сознании, что его тайны никому не известны.

Все это было хорошо, но во всей этой истории Проворов не мог уяснить себе, зачем понадобилось Чигиринскому столь необыкновенно скрывать от него Елену и вообще окружить свою сестру не совсем обычным для молодой девушки ее круга образом.

И, улучив минуту, когда они остались с Чигиринским вдвоем, он без всяких экивоков, прямо спросил его:

— Скажи, пожалуйста, зачем ты так беспо-

щадно испытывал мое терпение относительно твоей сестры и, в сущности, всячески мешал, чтобы мы свиделись, пока сама судьба не свела нас?

— Вот видишь ли, уже в самом твоём вопросе, в сущности, есть и ответ, — произнес Чигиринский. — Ты верно сказал, что я испытывал, но не столько твое терпение, а и самого тебя! Сказать тебе по правде, я на своём веку не видывал ни одного счастливого брака и потому, когда Лена осталась у меня на руках и я стал ответствен всецело за её дальнейшую судьбу, положил себе сделать все возможное, чтобы оградить её от несчастья и устранить от неё всех претендентов, которые могли бы явиться, потому что никого на свете не считал достойным её.

— Это ты прав! — воскликнул Проворов. — Это верно!

— Поэтому, — продолжал Чигиринский, — я не вывозил её в свет, да, кстати, она и молодая была очень, но, конечно, старался доставить ей возможные развлечения. Из всех же принадлежащих к петербургскому обществу людей она знала только тетушку Аглаю, у ко-

торой гостила иногда в Царском Селе, в Китайской деревне.

Проворов стремительно вскочил со своего места и с видом опытного мореплавателя, неожиданно для себя открывающего Америку, проговорил:

— Так вот оно что... так Аглая Ельпидифоровна Малоземова — ей тетка?

— Ну да, — подтвердил Чигиринский, — потому-то ты и увидел Лену в окне домика, где жила Малоземова, и потому-то и произошло все это недоразумение со старой фрейлиной.

— Ах, как это глупо и вместе с тем великолепно! — воскликнул, хохоча, Проворов. — Ну, хорошо! Но зачем же тогда ты устраивал это наше свидание в маскараде у Елагина?

— Да ведь что поделаешь!.. Лена сама попросила меня.

— Она сама попросила, чтобы нам увидеться?

— Да, и я не мог отказать ей в этом, потому что это было бы похоже на насилие, имеющее характер запрета. И потом, если уж выбирать Лене кого, то пусть лучше, думал я, будешь

ты.

Проворов, растроганный, со слезами на глазах, полез целоваться с Чигиринским. Он, правда, хотел бы как-нибудь совсем по-особенному выразить чувства, в настоящую минуту обуревавшие его, встать на голову, что ли, или перепрыгнуть через стену, но на самом деле мог только обнять своего приятеля и крепко стиснуть его.

— Тише ты! Задушишь! — освободился тот. — Я ведь только говорю, что из всех зол ты для Лены, может быть, наилучшее, но все-таки — зло! Само собою разумеется, что я все-таки хотел оградить ее и от тебя и потому совершенно не покровительствовал вашему сближению и ничего не делал для него. Но тебя мне все-таки было жаль, и, когда нам пришлось расстаться, я написал тебе, что Лена была для тебя мечтою, сновидением, чтобы успокоить тебя и остудить твой пыл и молодую горячность. Я никак не ожидал, что ты останешься верен ей даже как мечте и выдержишь даже такое испытание, какое приготовил тебе этот Тротото в Бендерах после бала у светлейшего. Узнав о твоей стойкости, я во-

лей-неволей должен был признать, что ты любишь Лену совсем исключительно, и это дает мне уверенность, что ты сделаешь ее счастливой.

Проворов хотел распространиться о том, что приложит, дескать, все старания, но он молча сидел и смотрел перед собой как завороченный, чутьем сознавая, что говорить тут не нужно.

На дворе в это время послышалось движение, раздалось хлопанье бича и звонкая труба почтальона проиграла торжественный сигнал.

— Что это такое? Кто-то приехал? — нахмурился Чигиринский и, встав, подошел к окну. — Я никого не жду. Неужели опять какой-нибудь посетитель, свернувший к нам с большой дороги?

На двор въезжал огромный, обвешанный сундуками и баулами дормез.

— Батюшки! — всплеснул руками Проворов, подойдя тоже к окну и узнавая экипаж. — Ведь это — фрейлина Малоземова!

— О ней-то мы и забыли! — как бы с какой-то безнадежностью вырвалось у Чиги-

ринского. — А ведь, чего доброго, она может нам помешать! Ведь она не подозревает, что Лена у меня и что я жив и разыгрываю для посторонних своего отсутствующего брата-двойника. А ведь она — единственная наша родственница и одна только и знает, что у меня никогда никакого брата не было.

— Дело выходит пренеприятное, — согласился и Проворов, раздумывая и напрасно сясь найти какой-нибудь выход.

А на дворе в это время уже ураганом выскочила из дормеза приживалка Нимфодора и во всю мочь кричала. В ворота же въезжали верхом казаки.

— Это совсем уж глупо! — даже с оттенком тревоги произнес Чигиринский. — Поди узнай, в чем там дело! — сказал он Проворову. — Очевидно, они явились спасать тебя, и один твой вид успокоит их. Ни обо мне, ни о Германе ничего не говори. Ври что знаешь... потом разберемся.

Проворов поспешил по знакомому ему коридору на крыльцо и, выйдя, должен был убедиться, что предприимчивость старой фрейлины и ее приживалки зашла слишком дале-

ко. У казаков был решительный вид, а Нимфодора неистово кричала:

— На абордаж!.. На приступ!.. Взять это разбойничье гнездо... Моя госпожа, фрейлина Малоземова, все доложит светлейшему! Здесь, в этом доме, убили гусара ее величества, господина Проворова.

Увидев выходявшего на крыльцо Сергея Александровича, она вдруг осеклась, присела и замолкла, потому что рот ее раскрылся от удивления и неожиданности, а глаза уставились неподвижно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тысяча семьсот девяносто шестой год застал Проворова счастливым супругом Елены, отцом двух детей, из которых старшему уже приходил к концу пятый год, и владельцем большого поместья в благословенном крае южного берега Крыма.

Женившись на Елене, Сергей Александрович вышел в отставку и, получив на льготных условиях землю во вновь утвержденном за Россией владении, сделался одним из первоборников русского землевладения среди местного мусульманского населения.

В этой новой для него деятельности было много увлекательного, были широкий размах, борьба и творчество, и эта борьба и творчество не позволяли опускаться и зарастить обыденщиной.

Женился Проворов не совсем обычным образом, и его Лена не была похожа на остальных женщин, и он для своей принцессы хотел создать совсем особенную, сказочную обстановку.

Дом у него был на скале, в виде осененного

кипарисами восточного замка. Прислуга ходила в роскошных азиатских одеждах. Комнат было немного, но отделаны они были с азиатскою и вместе с тем чисто европейскою, парижскою роскошью. Восточные ковры, кубки и курильницы, и парижская мебель, и ткани, и бронза.

Никаких знакомств Проворовы не вели, и если случалось им принимать официальных лиц или заглядывал к ним какой-нибудь сбившийся с пути проезжий, то эти гости переносились в сказочный мир «Тысячи и одной ночи».

Сергей Александрович был счастлив, как только может быть счастлив человек на земле. Он энергично делал свое дело, занимался землею, насаживал виноградники и разводил стада.

Проворовы жили своей особой жизнью, но все-таки известия извне доходили до них, и они следили за тем, что совершалось в мире, получали издававшиеся в Москве и Петербурге «Ведомости» и выписывали заграничные газеты.

О новостях из Петербурга им сообщала те-

тушка Аглая, довольно аккуратно присылавшая письма.

Тетушка Аглая, явившаяся в последний момент чуть было не помехой к свадьбе Проворова и Елены, сменила гнев на милость и благословила племянницу на замужество. Ей сказали тогда, что поместье и дом, в котором она ночевала по дороге, принадлежали Елене, которая, дескать, приехала из Петербурга после ее отъезда. То обстоятельство, что камер-юнкер Тротото уехал в бричке Проворова, исключительно свалили на самого Артура Эсперовича и объяснили Малоземовой его поступок тем, что, очевидно, он был пленен ею, а она этого не заметила или не хотела понять.

Старая фрейлина была этим очень польщена и волей-неволей утешилась.

Относительно же Проворова она со свойственной ей сентиментальностью ударилась в сторону жертвы и, вздыхая и томно закатывая глаза, говорила Елене, что браки — деяние неземное и что она отдает ей Проворова. Конечно, никто не может оценить достаточно высоту ее поступка, но они, девицы, то есть Елена и сама Аглая Ельпидифоровна, одни

могут понять друг друга и заключить союз дружбы любящих сердец.

— Мы будем любить его вместе! — вздыхала тетушка Аглая.

Ей не перечили, но в Петербург ее все-таки отправили, и она согласилась, что любить можно и издали.

Эта ее любовь стала выражаться в бесконечных ее письмах, которые иногда даже не были лишены интереса, и из них Проворовы подробно узнавали, что происходит в Петербурге.

Венчались в Екатеринославе, в новом, только что отстроенном Потемкинском соборе.

На свадьбе Чигиринский, который в своем виде не показывался тетушке Аглае, присутствовал под именем доктора Германа.

Затем доктор Герман всплыл в последний раз уже в Крыму для того, чтобы утонуть недалеко от Севастополя. Там были найдены на берегу моря его вещи, и, согласно всем формальностям, было установлено, что явившийся в Севастополе проездом иностранный подданный доктор Август Герман «несчастливо погиб через потопление», о чем и состав-

лен надлежащий протокол с соответствующим подписом и наложением казенной печати.

Чигиринский путешествовал за границей под именем Клавдия вместе с графом Алексеем Орловым и, между прочим, присутствовал при встрече последнего со знаменитым графом Сен-Жерменом. Он был в числе тех многих, при которых Орлов назвал графа Сен-Жермена отцом переворота 1762 гола, возведшего Екатерину II на российский престол.

В обществе того времени ходили слухи, что через графа Сен-Жермена масоны надеялись получить влияние на императрицу Екатерину, но их расчеты не оправдались, и исторические данные показывают, что братство вольных каменщиков употребило все усилия, чтобы заинтересовать цесаревича Павла Петровича, действительно имевшего склонность ко всему таинственному и мистическому, так что были полные основания к тому, что с его воцарением масонство приобретает в России влияние и могущество.

Весть о смерти Екатерины Великой разнеслась очень быстро по России, и почему-то сра-

зу молва оказалась неблагоприятною для Павла Петровича. Говорили, что вот скончалась государыня, которая была добрая и великая, а новый государь будет очень суров и несправедлив. Очевидно, кто-то умышленно старался о распространении подобных слухов, потому что ведь, в сущности, никто не мог знать, каким будет государь Павел Петрович.

Не следует забывать, что со смерти Петра Великого, если не считать кратковременных и несамостоятельных царствований Петра II и Петра III, Россией правили в течение трех четвертей столетия женщины, так что после этого строгий режим нового императора, не терпевшего ни изнеженности, ни мечтательной расслабленности и требовавшего от каждого неуклонного исполнения долга, мог показаться тяжелым, в особенности для высших чинов и придворных, привыкших к полной распущенности.

Провинция была отголоском Петербурга; власти в провинции перетрусили, засуетились и, конечно, переборщили в своем усердии, наделав глупостей. Главное внимание

было обращено на внешность, и стремление к мундирной муштровке дошло до того, что даже жены гражданских чиновников понашили себе платья с камзолами, украшенными шитьем и петлицами, присвоенными чином их мужей.

В Проворове (так называлось крымское поместье Елены и ее мужа) все эти преувеличенные потуги выслужиться перед Петербургом вызывали невольную улыбку. Проворов знал императора Павла Петровича, не сомневался, что это — государь благожелательный, сильный волею и замечательный по своим душевным качествам человек, настоящий рыцарь долга и чести.

Со дня на день Сергей Александрович ждал приезда Чигиринского, который изредка наезжал к ним в Крым, обыкновенно летом, через Константинополь, по морю на корабле. Он гостил иногда подолгу, рассказывал о своих путешествиях и играл с племянниками, которым привозил чудные подарки.

На этот раз Клавдий — потому что бывший Ванька давно уже стал Клавдием — приехал несколько ранее, чем обычно. Весна была в

полном разгаре, и розы цвели особенно пышно в садах у Проворова, имевшего особенное пристрастие к этим цветам. Целая долина была засажена розовыми кустами, и их нежный аромат наполнял воздух.

— Знаешь, — сказал Чигиринский, здороваясь, целуясь и обнимаясь, — много я на своем веку объездил мест и видал природных красот, но такого рая, как у вас тут, не видел нигде! Каждый раз, как я приезжаю к тебе, как-то всегда по-новому чувствую прелесть этого уголка!

— В нынешнем году ты приехал раньше, — ответил Сергей Александрович, тоже радостный и довольный, — и потому застал наши розы в полном цвету.

— Чудные розы! — похвалил Чигиринский. — Кажется, никогда не уехал бы отсюда.

— Да кто ж тебе велит уезжать? Оставайся! Я буду крайне рад, а уж о Лене и говорить нечего.

— И рад бы в рай, да грехи не пускают!

— Что у нас тут рай — в этом я с тобой согласен, — усмехнулся Проворов. — Но какие такие грехи могут тебя не пускать сюда?

— Да не сюда не пускают, а гонят ехать дальше!

— Дальше? — изумился Проворов. — Ты от нас намерен ехать не назад, а дальше?

— Да, и чем скорее, тем лучше.

— Так что ты ненадолго к нам?

— До завтра самое позднее — послезавтра надо уж ехать.

— Ты с ума сошел? — воскликнули в один голос Елена и Проворов. — Ты шутишь?

— Нет, не шучу. Надо ехать как можно скорее в Петербург.

Проворов хотел было спросить зачем, но вдруг замолк, сообразив, в чем было дело.

— Ты хочешь везти...

— Тсс... — остановил Чигиринский, — условимся раз навсегда не говорить вслух об этом; в воздухе могут остаться звуки, и этот след звуков, пожалуй, будет услышан. Ну, что у вас дети? Здоровы? Все благополучно?

Был уже поздний вечер, переходивший в южную свежую лунную ночь, и дети уже спали. Проворовы повели приехавшего дядю к племянникам. Он их не будил и только полюбавался на них спящих. Потом ужинали, дол-

го сидя за столом и разговаривая, а потом, уйдя к себе в спальню, Елена с мужем долго еще шептались.

Приезд Чигиринского и его слова о том, что нужно немедленно же ехать дальше в Петербург, напомнили Проворовым о том, что у них отошло уже в воспоминания и о чем они, счастливые своей жизнью, не думали.

Дело шло о документах, которые были спрятаны у них в замке, в нарочно устроенном для этого подвальном тайнике, высеченном в скале. Тогда же, когда их спрятали, было решено отвезти их в Петербург, когда взойдет на престол Павел Петрович, и передать ему, не лишившись возможности сделать это.

Теперь Чигиринский приехал, чтобы исполнить это, и Проворов не хотел отпускать его одного и считал своим долгом сопровождать ему, чтобы в случае нужды помочь и быть полезным.

Елена была убеждена, что она не вправе удерживать мужа, но не хотела отпускать его одного и твердо стояла на том, что вместе с детьми поедет тоже.

После долгого тихого шепота было решено

всем ехать в Петербург, и Чигиринский на другой день одобрил это решение, согласившись остаться на несколько дней, которые потребовались для того, чтобы сделать необходимые сборы в дальнюю дорогу. Они все трое считали, что в этой поездке была суть их жизненной миссии, завершить которую они должны, и ничуть не боялись этого путешествия, которое представлялось им вполне беспрепятственным и благополучным. Они верили в свое счастье, потому что были по-настоящему счастливы.

Note1

К высокому! (лат.)

[^^^]

Note2

Через трудное! (лат.)

[^^^]

Note3

Да будет так! Да свершится! (лат.)

[^^^]

Note4

Граф Александр Матвеевич Дмитриев-Мамонов (род. в 1758 году), покровительствуемый кн. Потемкиным, был назначен (в 1784 году) адъютантом к нему. Будучи при дворе, обратил на себя внимание имп. Екатерины II и до 1789 года был у нее в фаворе, однако влияния на дела государственные почти не имел.

[^^^]

Note5

Под именем «великого Копты» был известен среди масонов граф Калиостро.

[^^^]

Note6

Исторически верно.

[^^^]